

СОДЕРЖИТ  
НЕЦЕНЗУРНУЮ  
БРАНЬ

18+



Ирина Критская

Да воздастся каждому по делам его

Часть 4. Ирка

**Ирина Критская**  
**Да воздастся каждому по**  
**делам его. Часть . Ирка**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=67193933](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67193933)*

*SelfPub; 2023*

**Аннотация**

Последняя часть повести, в которой о своей маме рассказывает Ирка – дочь Ангелины. Рассказывает так, как ее помнит, так как подсказывает ей ее огромная любовь. В этой части плотно сплетены в клубок судьбы матери и дочери, в ней жизнь и смерть, счастье узнавания и горе прощания. Содержит нецензурную брань.

# Содержание

Глава 1. Браслет	5
Глава 2. Эклеры	14
Глава 3. Елка	21
Глава 4. Наказание	28
Глава 5. Юрка	37
Глава 6. Гаммы	45
Глава 7. Рамен	51
Глава 8. Опять романо камам	60
Глава 9. Уход	68
Глава 10. Давление	79
Глава 12. Накидушка	96
Глава 13. Лягуха	103
Глава 14. Доктор	112
Глава 15. Пузо	120
Глава 16. Глазюки	127
Глава 17. Уход Анны	135
Глава 18. Камасутра	143
Глава 19. Яблоки	154
Глава 20. Все уходят...	164
Глава 21. Болезнь	174
Глава 22. Перчики	182
Глава 23. Переезд	191
Глава 24. Лестница	199

Глава 25. Прощание  
ЭПИЛОГ

206  
215

# Ирина Критская

## Да воздастся каждому по делам его. Часть . Ирка

### Глава 1. Браслет

Уже третий час мы лежали на диване, стоящем прямо у окна и грызли семечки. Старенький ободранный диван на кухне был всегда разложен и упирался в стенку – ту, что под подоконником. Мы навалили на него все подушки и одеяла, которые нашли в доме, практически выровняв наше лежбище с уровнем окна. Такая конструкция позволяла нам, перевернувшись на пузо, беспрепятственно смотреть вниз, свесив головы. Что мы и делали —глазели во двор и плевались, стараясь попасть в длинного, хлыщеватого Мишку. Этот гад уже полчаса тер подошвами старых бот наши свеженарисованные классики.

– Во, какашка!

Оксанка высунулась почти по пояс, нажевала полный рот семечек вместе с шелухой и вытянула губы трубочкой, став похожей на гусенка. С чмокающим звуком она мастерски выпустила черно-белую рябую струю. Я высунулась тоже, и, судя по тому, что Мишка задрал голову, офигело рассматри-

вая небеса, снаряд достиг цели. Мы быстро спрятались – от греха. Я перевернулась на спину, и, рассматривая потрескавшийся потолок, лениво протянула:

– А завтра списать ему дашь. Вроде как не при чем...

Несмотря на то, что Оксанка была младше на три года и мы учились в разных школах, я была в курсе всех ее дел. Да и вообще, мне всегда казалось, что подруга, наоборот, старше меня, лет на пять. Оксанка соскочила с дивана, взяла пустую миску, в которой осталась лишь парочка одиноких семечек и снова наполнила её с верхом из почти опустевшей чугунной сковороды, размером с половину стола. Семечки Оксанкиному папе мешками присылали с Украины, и вкуснее этих, толстеньких, черных, с Тонкой скорлупкой, которая аж лопалась от жемчужных, румяных от жарки бочков, я не пробовала. Она поставила миску и ахнулась спиной на диван, рядом.

– Ну и дам. Падууумаешь. А классики пусть не стирает, мы вчера полчаса пыхтели с тобой. Я пачку мелков извела, мне папаня их на месяц выдал. Слушай!

Она повернулась ко мне, разом забыв про Мишку.

– Я у тебя битку видала. С цветком. Ой-еей. Обменяй. А? На браслетик.

Она покрутила перед моим носом пухлым запястьем, на котором блестел гранеными вставками обалденный, тоненький и самый настоящий, из красного металла браслетик. Это чудо Оксанке привезли из отцовского села, в память о пра-

бабке, с которой она была «як писана». Я этот чертов браслет вождедела. Но, была всегда уверена – не судьба. И тут...

Я хитро помолчала, выдерживая паузу. Мама всегда говорила – торопиться с решениями глупо. «Решение должно вызреть, сначала подняться, как тесто на пирожки, а потом стать упругим, единственным и готовым. Пospешишь, пирожки сядут».

–Обедать ко мне? Вон у тебя и жрать нечего. А у нас пупочки с гречей.

Оксанка облизнула губы розовым язычком, как котенок, но устояла.

– Ирк. Ну чего? С биткой? Я тебе еще зеркальце дам, то —кругленькое.

– Ну, зеркальце твое старое себе оставь, а вот браслетик...

Я пошла в прихожую и, покопавшись в кармане старенького плаща, достала битку. Что говорить – это была уж неделю как —моя гордость. Битка была бесценной, так как история её появления у меня была долгой, нудной и трудной. Маме привезли крем откуда-то из-за дальних заграниц, он был упакован не в стеклянную, как все крема на её столике, а в плоскую жестяную баночку. Как банки папиных мазей для обуви. Но та баночка была... не описать никакими словами. По нежному голубому фону плыли белые облака, превращались в завитушки, а те, в свою очередь, становились ромашками. Мама крем берегла и прятала его в тумбочку, видимо помня, как я года три назад, вылила ее духи из крошеч-

ной бутылочки в засохший фломастер. Что она так расстроилась, я тогда не понимала, фломастер тоже был заграничный и не менее ценный, чем её сладковатая вонючка, похожая на мочу. Мама вообще имела нехорошую привычку прятать от меня свои ценности. Конечно, её можно оправдать, так как я не отличалась особой бережливостью. И что-то испортить – мне было – раз плюнуть. Вспомнить только разрисованную прямо по лаку накалиной толстой иглой изящную шкатулку, сделанную лично для мамы известным художником по росписи. Ну да... мне было четыре... и меня научили во дворе рисовать фашистские кресты. Мне было так интересно воплотить новые знания и, решив ими порадовать маму, я тщательно вывела на глянцево-лаковой поверхности штучек десять скрещенных «Г»...

Мы отвлеклась. Я знала, где лежит крем, от меня вообще трудно было что-нибудь спрятать, и каждый день, когда мамы не было, я тихонько открывала ящичек её туалетного столика и доставала банку. Плотно погладив синие бока, я тихонько открывала ее, нюхала, и чуточку набирала на палец. Потом размазывала крем потщательнее и неслась в ванну мыть руки.

«Если каждый день по чуть-чуть, то это незаметно», – думала я, – «Но чертов крем кончится быстрее, банка освободится, а дальше – дело техники».

Что-то, а вот техника у меня была. Технически я действовала четко, точно, методика была проверенной и через па-



пу. Папа отказать мне не мог. Бледная грусть на челе, задумчивое жевание бутерброда без аппетита и остановившийся овечий взгляд бедной дочки делали чудеса. Правда банка, это был не тот случай, пустую банку мама должна была отдать и так. Что и случилось.

С сожалением вымазав остаточки, мама вздохнула, тщательно протерла банку салфеткой и сунула мне, что-то ворчнув про проклятых капиталистов, пожалевших дурацкой мазилки. Папа набил мою драгоценность песочком и тщательно запаял края. С тех пор, в классиковом мире я прослыла королевой.

С видом павы я дожидалась своей очереди и небрежно швыряла битку, стараясь попасть точно на «крылечко» – ровно под цифру «один». Публика была покорена и девочки не могли глаз оторвать от моей драгоценности. Это был постоянный фурор.

– На! Давай браслет. Зеркало можешь оставить. Пошли.

Браслет играл на моем запястье всеми цветами радуги, Оксанка положила битку рядом с обеденной тарелкой. Мы были счастливы.

– Оксан, что папа? Сегодня ночью опять не приходил?

Мама внимательно вглядывалась в подружкино лицо, потом подошла и пальцем потерла грязную полоску на ее толстенький, белой шее.

– У него работа.

Оксанка шмыгнула носом, кусанула здоровый кусок от

мягкой горбушки и незаметно прижалась, скорее подалась назад так, чтобы мамина рука подольше задержалась. Мама чуть погладила ее по голове, поправила хвостик, и, взяв уже пустую тарелку, из которой Оксанка вымакивала хлебом последние капли подливки, положила еще, побольше, чем в первый раз.

– Ты сегодня к нам ночевать давай. У нас банный день, я тебе голову помогу помыть, почитаем вслух.

Оксанка радостно закивала, хитрый черный глаз стрельнул в сторону толстого куска колбасы, лежавшего на самом краешке тарелки, она ловко подцепила его вилкой и сунула в рот.

Меня ревниво кольнуло где-то под ложечкой, я тоже протянула маме тарелку, хотя чувствовала, что еще ложка – и мне может сплохеть. Мама взяла тарелку, шутливо щелкнула меня по затылку и засмеялась.

– Обойдешься. Вон попа толстая. Давай, чай заваривай. Обжора.

С одной стороны, это было здорово, что Оксанка явится ночевать. Я обожала такие вечера, когда надувшись чаю до хлюпов в горле, да еще с хлебушком, который жарила мама, обмакнув перед жаркой в смесь с красивым названием «лезьон», выбрав из вазочки до дна зеленовато-розовое крыжовниковое варенье, мы, намытые и душистые, наконец усаживались почи-тать. Вернее, послушать, завернувшись в пушистые пуховые платки и забравшись с ногами в пухлые

кресла, как читала мама. А читала мама обалденно. Я сразу уносилась в придуманный мир, и выныривать оттуда мне не хотелось дико. Это было чудо, мама тогда казалась мне феей, воздушной, нереальной, недоступной. Правда, толстенькой и смешливой.

Оксанка, зараза, засыпала, где-то в середине нашего чтения, и тогда мама книжку захлопывала и звала отца. Осторожно, стараясь не разбудить, они переносили девочку в мою комнату и укладывали на разложенное кресло, подоткнув со всех сторон одеяло. Мама гасила торшер, но меня не торопила, и мы ещё долго сидели с родителями в зале под шепот и бормотанье телевизора.

С другой стороны я жутко ревновала. Мама очень жалела Оксанку, особенно после того, как тетя Вера развелась с ее папой. Мама относилась к Оксанке явно лучше, чем ко мне, отдавала ей мои вещи, мыла ей голову (а меня заставляла делать это самой), помогала ей решать дурацкие легкие задачки, причем я часами корпела самостоятельно над длинными, как змеи и тоскивыми уравнениями.

«Поделила квартиру вместе с детьми», – так говорила баба Аня дробненьким шепотком маме на кухне, но я слышала. Процесс деления квартиры вместе с детьми мне представлялся четко и однозначно. Это было, как торт, на котором сидели две фигурки – мальчик и девочка. Тетя Вера взяла большой ножик и размахала торт пополам, утащив свою половинку с мальчиком – Андрюшкой, толстым, крикливым карапу-

зом с вечно торчавшим из-под рубахи пупком и сине-коричневыми драными коленками. После этого Оксанка с папой оказались в маленькой квартирке в нашем же доме, только этажом выше. Оксанка поселилась на кухне за занавеской, которая скрывала от посторонних глаз старый проваленный диван, папа жил в прокуренной комнате, в которой почти никогда не включался свет.

При дележке тетя Вера оставила еще тараканов. Эти твари жили с Оксанкой и её папой полноправными членами семьи, и о них можно было писать отдельную книгу.

Мама мне разрешала ночевать у Оксанки, особенно когда у ее папы была очередная «работа», но я ни разу не смогла. Сходить в ванную ночью, а туалет у них был совмещенный, было выше моих сил, потому что раз, задержавшись у Оксанки допоздна, я, включив свет, увидела темный копошащийся слой на дне ванны. На мой отчаянный вой примчалась Оксана и огромным отцовским ботинком, издавая победные крики апачей давила их, превращая в месиво. Мне потом долго было плохо, больше ночевать я не оставалась.

...

–Ир, браслет верни.

Мама смотрела на экран и не поворачивала голову, но каким-то шестым чувством я чуяла – она очень сердится.

– Ты же знала, он ей в память, это почти амулет. Ты знаешь, что такое амулет?

Я не знала и знать не хотела. У меня так защипало в глазах

и носу, что еще чуть – я бы позорно разрыдалась прямо тут, при них. Мысль о потере браслета была нестерпимой, а если ещё вспомнить о его цене...

– Она сама...., – я заревела, и, чувствуя себя полной душой, выскочила в коридор. Мама вышла следом, обняла, прижала к теплomu, мягком шелковому животу, пахнущему мимозой.

– Ты сама все понимаешь, девочка. Отдай. Вернее, ты потом поймешь.

...

Тихонько прокравшись в свою комнату, я включила ночник. Долго смотрела на браслет, который переливался лучиками-гранями в неверном электрическом свете, потом стащила с руки и положила на Оксанкину подушку.

## Глава 2. Эклеры

– Ага! Ты в мой день рождения, никогда пирожки не пекла. А вот в её – пожалуйста. Да еще и торт ей шоколадный привезли. Вообще...

Я сидела, насупившись на кухне, и ковырялась ложкой в молочном супе с лапшой. Тихо ненавидя этот суп, в котором вечно мерзкая пенка прицеплялась к скользкой лапшине, я казалась себе несчастной, потому что мама не выпускала меня из-за стола, пока я его не выхлебаю до дна. Противный суп не кончался, и я канючила.

– А сама говорила, ей шоколадок нельзя, ага. У нее палец вон, весь в сыпи. А на торте один шоколад.

Я шваркнула ложкой, лапшины вздрогнули и разбежались по краям. Мама обернулась и строго посмотрела через очки. Когда она так смотрела, красивые тонкие брови изгибались удивленными дугами, глаза из под дымчатых стекол становились яркими и густо-зелеными, а кончики розовых губ чуть вздрагивали.

– Ира, доешь суп. И будешь печь эклеры, как тебя учили на домоводстве.

Готовить я обожала и почувствовала, как сердце моё вдруг оттаяло, и веселые шоколадные зайцы, собирающие морковку вокруг веселого, выписанного заковыристыми белыми буквами имени «Оксанка», перестали меня раздражать.

Торт привезла тетя Нина, папина сестра. Видно его заказала мама, подгадав точно к тетиному отъезду в Москву, на учебу – как раз прямо к Оксанкиному дню рождения. Она всегда привозила мне такие тортики со своей кондитерской фабрики. Но первый раз этот торт предназначался не мне. Мама вытерла руки об фартук, посмотрела на меня внимательно, присела рядом. Помолчала, потом приподняла мое лицо за подбородок, слегка касаясь теплыми нежными пальцами. Я совсем растаяла – я обожала, когда она так делает, и злость окончательно улетучилась, не оставив следа.

– Понимаешь, девочка... Тетя Вера ведь никогда не отмечала её день рождения. Оксана даже думала, что у неё дня рождения нет. У тебя есть, у меня, у папы её, у мамы. А у неё нет, вот просто – ей не положено. Я её спросила тут как-то, а она удивилась... Она ведь ни разу даже подарка не получила. За всю жизнь.

Я смотрела на маму и даже с трудом поняла, о чем она говорит. Как это – ни разу? Я этого себе представить не могла, и от жалости к подружке у меня даже ёкнуло в животе.

– И вот знаешь, ответь мне. Помнишь, ты написала в открытке, что любого человека надо кому-нибудь любить. Мне так понравилась эта открытка, я её даже сохранила. Так скажи – кто будет любить твою Оксану?

Я помолчала, смотря на пирожки, которые раздувались на глазах, и становились толстенькими белыми поросятами. Я не знала – кто. Может быть это – мы? Но вот маму этой Ок-

санище проклятой я не отдам...

Мама как будто прочитала мои мысли, улыбнулась, поцеловала меня в макушку.

– Сейчас папа приведет Оксану, она у нас побудет с бабушкой, а мы пойдем подарок покупать. Подумай, что ты хочешь ей подарить. Но лучше, – давай-ка возьмем ее с собой в магазин. Вдруг у нее есть тайные мечты?

Тайные мечты есть у всех, а как же. Тут я не возражала. Подарок мы выбрали сходу, даже не успев побродить по огромному, набитому донельзя людьми, магазину. Увидев швейную машинку, маленькую, изящную, но совсем, как настоящую, с крошечным мотком ниток и малюсеньким блестящим колесиком, Оксана вцепилась двумя руками в край прилавка и замерла. Она не замечала, что ее толкают со всех сторон, только подрагивал упругий длинный хвостик от каждого толчка. Я даже испугалась и тихонько ткнула в её мягкий бок кулаком, но она не реагировала. Сбоку, в профиль я видела, как горел черный глаз, которым она водила, словно маленькая, пойманная под уздцы лошадка.

– У моей мамы такая была. Она мне воротничок вышивала, птичками...

Мама вздохнула и достала кошелек.

\*\*\*

Встала я в пять. Надо было сделать обалденные эклеры. А кто ещё? Ведь кто ещё будет так любить мою Оксану? Мое-



му удивлению не было предела, потому что на кухне, сияя своим утренним свежим румянцем, пышными волосами и блестящими сережками, которые она надевала прямо с утра, сидела мама. В жизни она не вставала в выходной так рано. Что случилось – то? Наверное, она все же не хотела, чтобы ее единственная дочь опять ударила в грязь лицом, как тогда – на уроке...

\*\*\*

...А тогда на уроке наша тема посвящалась заварному тесту, пирожными мы должны были угостить родителей. Для этого в углу класса накрыли стол, застелив его кружевной скатертью и расставив беленькие фарфоровые чашки. Даже настоящий молочник поставили, тоненький, с красивым изогнутым носиком, обведенным золотой полоской... К концу занятия я, самая последняя, вся потная от усилий, отдала свой противень Клавдее (так мы звали учительницу домоводства – добрую, уютную, пухлую как подушка, такую, что хотелось прижаться к ней щекой). Клавдея посмотрела на неровные грязно-желтые, рябые комки, жалостливо погладила меня по голове, но в духовку это безобразие сунула. Стыду моему не было предела, когда на столе, после ухода родителей, сиротливо остались мои приплюснутые лепехи, сверху кое-как залитые кремом. Засунуть крем в плоские, освещенные пирожные у меня не получилось....

\*\*\*

Сегодня снова, пыхтя, как паровоз, я сбивала крем. Я очень старалась, но самое страшное было впереди. Противное заварное тесто у меня опять не получалось, взмокли от волнения руки, венчик выскользнул и тонул в маслянистой смеси.

– Ты, вот, что...

Мама сидела за столом, медленно цедила кофе и вкусно похрустывала орешками в сахаре – любимой своей сладостью.

– Сильно не напрягайся. Делай все легко, радостно, красиво работай, красиво двигайся, красиво думай. Тогда все получится красиво. Что вот ты скукожилась?

Она встала, подошла к кастрюле.

– Нда...

Отняла у меня девятое яйцо, которое я собиралась вколотить в рябое тесто, хоть оно и не становилось гладким и упругим никакими силами.

– Что уж тут... Раскладывай, давай. Как есть.

Все было кончено. Чувствуя, как закипают в глазах слезы, я поплюхала комки на противень. Это был позор.

– Вов! – Звонко крикнула мама в темноту длинного коридора, – Иди духовку разожги!

Она поставила противень на табуретку около плиты. Сонный папа, с усилием продирая глаза, видимо совсем не проснувшись, зажег спичку и решил присесть около раскрытой дверцы духовки. Не рассчитав расстояние, или оступив-

шись, он сел прямо в центр противня, передавив всю мою неудавшуюся красоту...

... Наверное, я не ревела с такой силой с самого своего рождения. Во всяком случае, сейчас бы я переорала рев того элеватора, который, по рассказам мамы ознаменовал мое появление на свет. Папа, испугавшись до смерти, руками собирал с пола и штанов, скользкое, жидкое тесто и смачно плюхал его в кастрюлю. Мама хохотала так, что звенели хрустальные рюмки в шкафу, а нервная соседка сверху начала стучать по батарее. Отсмеявшись, мама разбила девятое яйцо в страшное содержимое кастрюли и ловко вмешала его, чуть еще похрюкивая от смеха. И тут поганое тесто вдруг стало гладким и упругим! Точно, как на картинке, в кулинарной книжке.

\*\*\*

... Утром, когда Оксанкин папа снова привел ее к нам, я ещё спала, но сквозь сон слышала мамин тихий голос и подружкин смех, как будто звенели колокольчики. Спать было больше нельзя, так и проспять чего недолго, и я вскочила, разом натянула шорты и майку и выскочила в коридор. Мне навстречу шла незнакомая принцесса с круглыми, ошалелыми чёрными мячиками вместо глаз, в пышном белом платье, с распушенными прямыми волосами, в которых струилась, матово поблескивая, тонкая атласная лента. Принцесса подошла к зеркалу и недоверчиво потрогала свое отражение.

Поправила платье, крутнулась и снова потрогала. Потом повернулась ко мне, хихикнула растерянно и сразу превратилась в Оксанку, только красивую и с красным, распухшим носом.

– Ты чо? Ревела что ли?

Я потеряла свою любимую ленту в Оксанкиных волосах и первый раз не ощутила ни злости, ни раздражения. Наоборот, мне стало радостно и светло на душе. Покрутив подружку в разные стороны, я вихрем рванула в свою комнату, и, вытряхнув свою заветную шкатулку прямо на палас, достала брошку. Тоненькая веточка из серебристого металла с блестящей стеклянной капелькой на маленьком ажурном листике была моей тайной. Мне ее втихаря сунула в руки тетя Рая, еще прошлым летом, на вокзале, когда мы уезжали из деревни. Шепнула – «Матери не кажи». Я ничего не поняла, но брошку взяла. Так она и пролежала год в шкатулке, а вот теперь пригодилась. Я приколола ее к Оксанкиному платью и, гордая собой, притащила за руку в зал. Мама улыбнулась, поправила мою перекосившуюся майку, но увидев брошку, вздрогнула. Притянула Оксанку, рассмотрела брошку поближе и ничего не сказала, только коротко взглянула на меня странно блеснувшими глазами.

## Глава 3. Елка

Свечи в торте с зайцами горели ярко, даже потрескивали. Свет дрожал и освещал Оксанкину напряженную мордочку и круглые щеки. Подружка приготовилась дунуть. Ей надо было разом загасить все восемь свечек, задача оказалась ответственной, а Оксанка не привыкла что-либо делать плохо или не полностью. Поэтому она надулась и зажмурила глаза. В дрожащем отсвете пламени ее личико изменилось, и я только сейчас заметила, какая она симпатичная. Розовые щеки смугло горели, чернящие ресницы в прижмуренных глазах были такими длинными и мохнатыми, что отбрасывали легкие тени.

Мама подошла сзади и ласково поправила гладкие пряди, падающие ей на плечи. Что-то больно кольнуло меня в бок. Я помнила это ощущение. Как только оно появлялось, я обязательно делала какую-нибудь гадость. И виновата была в этой гадости всегда мама. Но она этого ее знала, потому что я берегла её от такой неприятной мысли. У меня засвербило в носу и зло защипало глаза. Я набычилась.

К проигрывателю, стоящему на тумбочке у окна, подошел папа, выждал минутку и запустил пластинку. Песенка про день рожденья грянула на весь дом, мама опустила руку Оксане на плечо. Та дунула так, что дрогнули зайцы, с ближайшего грибка слетела тоненькая шляпка, а свечи погас-

ли сразу все, до единой. Гости захлопали, закричали" ура", а папа, как фокусник, вытащил из-за спины букетик гвоздик и, вручив их подружке, взял ее на руки. Эта толстая корова, свесив ноги в нарядных. красных сандалиях почти до земли, сидела у моего папы на руках и, обняв его за шею, довольно хохотала, сияя черными глазищами.

Тут, по сценарию, я должна была влезть на табуретку и с выражением прочитав сочиненный мамой стих про красивую умную девочку, которая выросла и стала еще умнее и красивей. Я залезла на табуретку. Музыка стихла, все гости уставились на меня. Набрав побольше воздуха и, глядя прямо на противную подружку, я выпалила:

– Ничего! Мы вот на юг поедим когда все вместе и Оксанищу эту возьмем. А я тогда все глаза песком засыплю. Пусть знает.

И прочитала стих. Громко и с выражением.

Папа медленно опустил Оксанку, и погладил её по голове. Было поздно, потому что та испустила дикий рев и села на пол. Тогда папа поднял её с пола и прижал к себе крепче, успокаивая. Я слезла с табуретки и в звенящей тишине, глядя в папино лицо, мстительно заявила.

– И тебе засыплю! Тоже! – и, развернувшись, вышла из комнаты. Когда я медленно шла по коридору и вела пальцем по светлым обоям, уже у кухни меня догнала мама.

– Мне надо с тобой поговорить, Ира. Серьезно.

Она посадила меня на стул, села напротив. Я хотела вы-

рваться и убежать, но руки у мамы были сильные, и вывернуться не получилось. Она смотрела мне прямо в глаза, и на ее белом лбу собралась складочка, а розовые губы подрагивали. Так всегда было, когда она сильно сердилась.

– Я многое тебе объясняла, Ира. Про Оксану, про её жизнь, про маму её тоже. Ты вроде все понимала. Или нет?

– А чего она?

Вредный червяк в моей голове ворочался, а в боку все покалывало. Мне уже было стыдно, но признаться – означало сдать позиции. А я свои позиции без боя не сдавала.

– Значит так!

Мама встала, зашелестев шелковым новым платьем, от которого пахло духами и шоколадом. Мне уже так захотелось прижаться к ее теплему боку и зареветь, что стало плевать на этот бой. Я рванула к ней, но она уверенно отстранила меня, отошла к двери. Потом повернулась ко мне.

– Мы все идем в цирк на Новый год, ты знаешь. Все, кроме тебя.

У меня даже дернулась голова, как от удара. Слезы прорвали плотину и хлынули градом.

\*\*\*

– Ты обалдела, Ангелин. Ребенок два месяца ждал этого цирка, она вон, весь альбом клоунами и медведями на велосипедах изрисовала. Надо же меру знать!

– Мам, наказание должно быть запоминающимся, иначе

оно не имеет смысла. Она поступила зло. Это стоит наказания. Оксана эта, как песик бездомный живет, у нее радости никакой нет, ты же знаешь, Верка забросила её совсем. Я Ире все объясняла. Она все поняла было... Но сказала мерзость просто так, из вредности и злобы.

– Эта Верка тебя чуть со всеми родными не перессорила, Линка вон, хорошо она здоровая кобыла, и родила без бед. А если б скинула, да не дай бог ребёнок помер? Ты как бы в глаза людям смотрела?

Голоса взрослых на кухне гудели, то нарастая, то удаляясь. Мне казалось, что кучка пчел слетелась на мед, капнувший на стол. И пчелы, пока весь мёд не растаскают, не разлетятся. Я сидела у себя в комнате на диване и клевала носом. Гуд меня усыплял, но слова я различала. Особенно баб Анин, она говорила резко и отдельно, и только её голос не жужжал, а бил по перепонкам, вызывая странную боль в голове.

– Про Бориса поговорят, да забудут, козла этакого. Он уж там, перед Линкой усом повёл, та и растаяла, простила. А тебя век с твоим добром вспоминать будут. И в Веркой твоей, прибудой. Ты же их познакомила.

– Мам. Он не бычок, я его за ноздрю не вела на случку.

Глубокий и нежный мамин голос тоже выбился из гула и прозвучал так, как у нас в оркестре в музыкалке звучит валторна. Нежно, переливисто – и один, во вдруг возникшей тишине смолкнувшего аккомпанемента. Я даже проснулась,



и болезненный стук в голове на минутку затих.

Но бабушка сбила тон:

– А ты еще дочь её привечаешь. И с Ирккой позволяешь дружить. Да еще и так наказываешь собственное дитя. А у Оксанки этой уже сейчас глаз блудливый. Вылитая же мать, копия.

Баба Аня стала говорить громче, я совсем проснулась. Голова болела все сильнее, я легла на диван, чувствуя, как тянет ноги ломотно и неприятно. Болело горло так, что я не могла проглотить и, пытаясь позвать маму, просипела:

– Мааа. Мааа.

Никто не слышал и мне показалось, что я одна. На всем свете...

\*\*\*

Как я обожала болеть. Сейчас, когда уже спала температура, но все еще от малейшего движения меня бросало в жар, мне разрешили лежать в мам-папиной спальне, на огромной душистой кровати с белоснежным, гладким, холодящим бельем и читать Большую Советскую энциклопедию. Энциклопедия была тяжелой, как гиря, но я все равно, с трудом вытаскивала её из тесноты шкафа и тащила на кровать, запыхавшись от усилий.

Баба Аня ругалась «неслухом», но подкатывалась ко мне тёплым шариком и подтыкала одеяло со всех сторон, подсовывая подушку под плечи. Потом чистила мне апельсин, де-

лила его на дольки и включала шикарный мамин торшер из золотистых шаров, нанизанных один на другой. Я читала все подряд, но особенно меня занимали медицинские статьи с картинками. Особенно, там, где все в разрезе. Я подпихивала книжку поближе к свету и внимательно изучала извитые дорожки сосудов, изгибы костей и что-то еще, непонятное и завораживающе-пугающее. Потом приходила мама, снимала в прихожей шубку и через полуоткрытую дверь врвался запах снега, свежести, цветов и еще чего-то, запретно-приятного. Она подходила ко мне, и наклонялась, коснувшись губами лба. Потом трогала щеку прохладной, мягкой ладонью и гладила по голове. А вечером долго сидела у меня в комнате на кресле и читала мне вслух.

\*\*\*

– Тссс. Ирка спит, не шуми. Она сегодня первую ночь не бухкала, сейчас разбудишь, начнет кашлять опять. Господи! Ты чего-ж датый такой с утра! И куда ты такую-то припер. Как ставить будем? Где ж ты взял её, а?

Я медленно выныривала из ночи. И выныривание это было жутко приятным, потому что одновременно мне вспоминалось, медленно и тягуче, куда вчера вечером, закутавшись, как дед Мороз в тулуп, напялив старые дедовы валенки и смешную мохнатую шапку (пыыыыжик – тянула мама, хихикая) ушел папа. Он ушел дежурить в наш хозяйственный магазин за лесом. А туда должны были привезти елки. Мама

рассказала мне, что если папа с мужичками, под бутылочку, разгрузят машину с елками, то всё может быть, и одна красавица будет наша.

Я вскочила и, прямо босиком, в рубашке, бросилась в коридор. А коридор заполнял запах. Безумный, яркий, свежий лесной аромат ворвался в нос, закружил голову и я, чихнув пару раз, гикнула радостно и, проскочив пьяненького папу и испуганно посторонившуюся маму, влетела в зал.

Она! Занимала! Всю комнату! Темная, пушистая, мохнатая. Такая красивая, что я села на пол, рядом с елкой, взяла ее за колючую лапу и заплакала.

## Глава 4. Наказание

– Баб. Зима когда кончится? Я весну хочу. А баб?

Мы с бабой Аней брели в музыкалку по тоненькой тропке, проложенной через огромные сугробы на пустыре. Ветер нес острые колючие снежинки, хлестал ими по лицу, лез за воротник и в рукава, лепил по коленкам и даже задувал в валенки.

– Будет тебе весна, вон смотри лучше, как красиво вокруг.

Мне набивался снег в рот и в нос, отвечать было неохота, и красоты особой я не наблюдала в сплошной круговерти снега. Жутко замерзли ноги, и очень хотелось ныть. У нас с бабушкой эта дорога в музыкальную школу вообще была довольно тернистой. Сначала мы шли через небольшой лесок у окружной дороги, потом через пустырь до автобусной остановки. Там, у самого пустыря, была конечная остановка автобуса. Одинокая будка с поломанной крышей и изринованными стенками, конечно, прикрывала редких пассажиров от ветра и непогоды, но автобус ходил так редко, что мы успевали продрогнуть до костей. Чуть согревшись, мы пересаживались на второй автобус, он был уже поудобнее, совсем городской. Правда, моя бабуля не искала легких путей, а искала коротких, поэтому мы выходили снова, именно у леса. Вернее – у маленького лесочка, в черноту которого ве-

ла разбитая мощеная дорожка, почищенная от снега лишь кое-где. Мы лезли по колено в снегу, пыхтя и отфыркиваясь, как два кита. Дорожка упиралась в скрипучее крылечко с заднего двора старой, деревянной школы. За школой было кладбище и я, приседая от ужаса, держалась за бабушку крепко, вцепившись в мокрый подол пальто. Но зато можно было на переменках вечерних занятий отлично пугать уборщиц, изображая крик ночных сов хорошо поставленными на уроках хора голосами. Да и привидения – это вам тоже – не фунт изюма.

– Аааууу, ииииуууу.

Бритый под ноль Вадим, похожий на табуретку с короткими ножками, лучший ученик, солист школьного хора, трубно завывал из темного угла под лестницей. Я хлопала раскрытой тетрадкой по нотной папке, изображая звук крыльев страшной ночной птицы, и тоже подвывала тоненько.

– Иииииуу, иииии

– Чтоб тебе, нехристище.

Уборщица замахивалась на нас плохо отжатой тряпкой. Мы прыскали в стороны, а грязная вода стекала на крашеный пол, образуя мутные лужицы.

\*\*\*

Длинные уроки фортепиано я ненавидела яро. Разбегающиеся и сходящиеся гаммы были тягучими, резиновыми, хроматические ломались в самом неожиданном месте, подло

и неожиданно. Мой педагог по фортепиано, грозная Ирина Петровна (Извергиль, как называл ее папа) беленела, норовила врезать мне по пальцам корешком дневника и швыряла ноты в угол. Ноты шелестели и влажно брякались на пол, а я обитой собачкой плелась за ними и несла их назад. Я никогда не рассказывала маме об этом, предполагая, что узнай она – от плотно набитых в войлочную башню извергильских волос не останется и клока. Но зато потом было сольфеджио. А на нем, тоненькая, стройная, похожая на танцовщицу из Андерсена, Венера Игоревна творила с нами волшебство. По мановению её тонких пальцев мы вдруг превращались в звуки. Взмах – и тягучая, протяжная нота чудом возникала откуда-то из первого ряда, еще взмах – нежнейший звук из второго, и вот уже полновесный аккорд заполнял нас до краев. И тоненькое пициккато, которое тренькали две сестрички-близняшки остренькими голосами щекотало где-то у самого сердца.

А потом еще можно было пугануть бабушку. Выждав, когда схлынет поток музыкальных гениев, прокравшись незаметно в тесную, полутемную раздевалку, я прыгала на нее сзади и верещала страшным потусторонним голосом. Баба Аня каждый раз пугалась, грозила мне маленькой ручкой, а морщинки на её полном, яблочно-розовом лице играли, собирались и разбегались снова, как тоненькие лучики.

Самым же большим счастьем, редким моим подарком судьбы было пойти в музыкалку с мамой. Там, из гордой,

недоступной, всё знающей и строгой учительницы, она вдруг становилась маленькой и растерянной. Внимательно выслушивала упреки Извергиль, послушно кивая головой (и только по ее, обычно пухлым розовым губам, вдруг сжимающимся в тонкую, злую линию, я понимала, как ей трудно сдерживаться). Неловко примостившись в самом уголке толпы мам, переписывающих задание, вывешенное в коридоре на пыльном деревянном стенде, она вставала на цыпочки, и ежеминутно поднимая очки повыше, близоруко щурясь, быстро писала кривые нотки в моей толстой тетрадке. А я стояла сзади и гордо крутила головой. Мама была самой красивой из всех теток, полной, белой, нарядной и душистой. У нее в ушах и на руках с яркими ноготками сверкали украшения, а рыжие волосы были собраны высоко и пышно. И, заметив какого-нибудь противного дядьку, уставившегося на моё сокровище, я тут же вбуравливалась между, прикрывая ее своим телом.

– Мам! Ты опять подслушивала? Тебя же ругали, вон ты наследила на полу.

Мама смеялась, стаскивая с головы пушистый шарф, весь в таящих искристых снежинках и вытирала ноги о расстеленный половичок.

Каждый раз, когда у нас начиналось сольфеджио, она выскакивала на улицу и под окном, вскарабкавшись на пень, слушала наше пение. Ей очень нравилось. Я это знала, и всегда старалась заглянуть за занавеску, мне казалось, что я ви-

жу, как блестят её глаза, и даже слышала – она подпевает. И уже совсем поздно, после занятий, сойдя с автобуса на конечной остановке, мы с мамой, взявшись за руки, размахивали ими, как маленькие и орали на весь лес арию Ленского.

– Падууу ли я, – звонко кричала мама, а с деревьев осыпался снег, мягко плюхаясь на дорожку. – Стрелой пронзенный, – вторила я, стараясь перекрычать, срывалась и хрипела...

\*\*\*

– Баб. Ты мне платье погладь. А то у мамы там сегодня собрание, про цирк. Она поздно придет. А?

Бабушка странно посмотрела на меня, подвинула поближе кашу и хмыкнула.

– Я-то поглажу. Чего не погладить. А ты кашу вон ешь. Не усугубляй.

Слово «усугубляй» мне представилось противным губошлепным зверьком, и я ничего не поняла. Запихнула в себя кашу, помыла тарелку, и, схватив наглаженное платье, убежала к себе. На улице мело так, что стекло казалось белым, вроде его облили молоком. Я задернула шторы, аккуратненько развесила платье и тихонько вышла в коридор. В пустой квартире было тихо, прохладно и темно. Бабуля дремала в кресле, я на цыпочках прокралась мимо неё, в зал. В самом углу большой комнаты стояла елка. Вчера мы с мамой вдвоём, целый вечер наряжали ее, весело и дружно. Правда, быст-



ро кончились игрушки, но мама жестом фокусницы достала разноцветные пушистые мотки ниток, и мы быстро навертели кукол с торчащими в разные стороны руками и косматыми головами. А потом клеили кольца из блестящей бумаги, превращая их в длинные цепочки с неровными звеньями. В них запутался, вернувшийся к ночи с работы папа, и мы долго отдирали свою красоту от его штанов, хихикая и толкаясь.

\*\*\*

Уже неделю ощущение щенячьего счастья не покидало меня. Новый год был совсем близко, и суматошно-радостное предчувствие сказки кружило мне голову. А тут ещё завтра мы идем в цирк. Господи! Как я мечтала о нём. Как я любила этот запах, замешанный на чем-то молочно-сладком с примесью опилок и еще чего-то звериного, тайного. Когда гасили свет и зажигали огни, мне хотелось затаить дыхание и взлететь туда, к куполу, взмыть птицей и навсегда остаться там. В первом же номере я начинала плакать, сама не зная почему, мама хмыкала, улыбалась и вытирала мне нос белым, жестковатым платочком. Потом обнимала, чуть прижав к себе...и то, что происходило там, внизу, на арене становилось нашей тайной.

Забравшись почти под елку, скрутившись калачиком на мягком ковре, вдыхая аромат хвои и конфет, развешанных по широким, темным лапам, я представляла себе – сверкающими стрелами взмывают к куполу гимнасты, вздрагивают,

когда фокусник втыкает в них нож красавицы. Я улыбалась, разглядывая клоуна с черной собачкой. Все было, здесь, рядом. Почти наяву...

\*\*\*

...Проснулась я от того, что яркое зимнее солнце защеколало мне щеку. Я вскочила, проверила, на месте ли платье, и с ужасом посмотрела на часы. Представление было утренним, проспать - не просто невозможно, это подобно смерти. Вылетев на кухню, я, быстренько чмокнув всех, уселась за стол и придвинула тарелку. И тут поймала странный мамин взгляд. Она смотрела мне прямо в лицо, серьезно, без улыбки. Глаза у нее уже были подкрашены, длинные красивые стрелочки их удлинняли, и она была немного похожа на кошку из соседского окна – рыжую, пушистую и надменную.

– Ира. Ты разве забыла, что в цирк мы сегодня идем без тебя?

Кусок батона выпал у меня изо рта, я уронила чашку и молоко водопадом ринулось со стола, залив мне тапки. Баба Аня вскочила и полотенцем попыталась спасти положение, но я, неловко развернувшись к маме, перевернула и ее чашку, попутно задев локтем папин стакан. Но мне было на все это уже наплевать, я стояла и молча смотрела, как наш красивый утренний стол превращается в помойку и не шевелилась. Я даже не плакала. Я просто, наверное, перестала дышать.

\*\*\*

Пришла в себя я от того, что бабушка промакивала мне воспаленную физиономию холодным, мокрым платком и внимательно её рассматривала. Первый раз в её глазах я увидела укор:

– Ну ты и вопила, дорогая. Как ослица.

В жизни бабушка не говорила своей «единственной внучечке» таких слов. Но я их точно заслужила, потому что вдруг, чётко вспомнила истерику, которую устроила. Ужас потери, разочарование, обида – все хлынуло в мою бедную голову, и я думала только об одном – пойти! Пойти в цирк любой ценой! Я ползала и орала, цеплялась за мамины ноги, объясняла, обещала и снова орала. Но мама была неумолима. Отцепив от себя мои дрожащие, мокрые руки, она холодно посмотрела на меня:

– Ира, за свои плохие поступки надо учиться отвечать. Достойно. И уважать себя.

\*\*\*

Дверь приоткрылась, и я узнала эту осторожную тень. В мою скорбную комнату проник свет из коридора и хитрый глаз. Папа...

– Ну что, Голяп? Ты как тут? Я, знаешь, тоже не пошёл. И вот что еще... Хотел на Новый Год, да ладно!

Он подошел ближе, и я увидела, что у него в руках чуть

поблескивают новые, маленькие хорошенькие коньки.

– Ну-ка вставай. Пошли учиться...

На пустыре перед домом, была огромная замерзшая лужа. Папа держал меня крепко. и я плыла, как Одиллия и Одетта, купаясь в свете только что выглянувшей луны. Боль тихонько стихала, обида и недоумение чуть-чуть разжали хватку, и я уже могла свободно дышать.

– Знаешь, Голяп. Мама держит слово. Всегда. Как ты думаешь —это плохо?

Я молчала...

## Глава 5. Юрка

Гад Юрка уже замучил нас с Маринкой до смерти. Последний класс начальной школы подходил к концу, мы чувствовали себя уже очень взрослыми девицами, а этот поганец нас не принимал всерьёз, просто вообще, в принципе. Особенно страдала Маринка, моя новая подружка – крохотный гномик с круглыми желтоватыми глазками без ресниц и длинными толстыми косами. Эти косы были постоянным предметом вожделения наших мальчишек, и один раз у нее чуть не оторвалась голова, когда Юрка прище-мил пушистые хвостики с бантиками между партой и стулом. Маринку тогда вызвали отвечать, она резко вскочила, голова дернулась, подружка завалилась назад, плюхнулась на скамейку, и заревела. Наша РаисПална нарисовала жирную двойку по поведению в Юркином дневнике, но это давно не производило на чёртова двоечника никакого впечатления. Красивые, каллиграфически выписанные лебеди гордо плыли по глади истрепанного дневника этого балбеса стаями, он пытался срезать им головы тоненьким лезвием, но руки-крюки прорезали в страничках противные, предательские дыры. А вот и так мерзкий Юркин характер от этих двоек только ухудшался, он каждый день выдумывал все новые гадости, и фантазия его была неистощима. Мы вытряхивали из своих пеналов дохлых мух, раздирали тетрадки, склеенные намерт-

во между собой страницами обложек, доставали из чешек, оставленных в раздевалке во время. физкультуры жёваные мякиши хлеба, выпутывали из волос комки какой-то дряни, которой этот паразит метко пулял из специальной трубочки.

Однажды, впад в отчаянье от очередной проделки, хлюпая носом от обиды, я побежала к маме в класс. Сопя и перебивая сама себя, долго рассказывала, преувеличивая и усугубляя детали поганого Юркиного характера.

– И он сказал, что я толстая и платье у меня мятое... На ж... пе!

Это был последний и самый страшный аргумент. Тут мама точно должна была ужаснуться Юркиной грубости, сразу проникнуться и защитить меня от него навсегда.

Мама сидела прямо на столе и внимательно рассматривала мою, горевшую огнем физиономию.

– Так он прав,

Взгляд мамы скользнул по моему и вправду поплотневшему последнее время тулову, я попыталась втянуть пузо, но оно не втягивалось.

– Ты стала много сладкого есть, и – результат! Кто за диван вчера штук двадцать фантиков натолкал? А апельсины все, кто перетаскал, на неделю купленные? И крошки от батона в постели не у меня ведь? А?

Она смотрела серьезно, но глаза у нее смеялись и искрились озорными лучиками.

– Ну-ка, подойди ко мне.

Она притянула меня за руку поближе, и растянула широкий подол моего платья.

– Надо же... Абсолютно мятая ж... па! Ведь не врал. А то, что у тебя воротничок серый, вместо белого – он не говорил? Вон, посмотри.

Она вытащила зеркальце и в глубине чуть мутного стекла я увидела щекастую физиономию, уныло нависающую над грязноватым воротничком.

– Ты воротничок новый пришей, который я тебе еще в воскресенье дала. Платье погладь. И туфли помой с мылом. Я тебе ведь не зря их вчера на стол поставила, а ты их спрятала под диван. И увидишь сразу – мир изменится.

Я недоверчиво посмотрела в её хитрые глазищи.

– Точно-точно. Проверено. И еще, знаешь что?

Она притянула меня совсем близко, взяв теплыми пальцами за ухо и щекотно шепнула:

– Тайну хочешь, открою? Он в кого-то из вас втрескался. И судя по этому, – она, больно потянув меня за хвостик косички, вытащила жеваный комок бумаги из волос, – В тебя! Точно.

Я покраснела. Постояла в нерешительности, вытянула из-под маминого белого, пухлого локотка зеркало, старательно пригладила растрепавшуюся челку и, завязав покрасивее бант, пошла к дверям.

– Ирк! Постой. И запомни – жаловаться больше не смей!

Я обернулась. Мама по-прежнему сидела на столе и даже

болтала ногами, как девчонка.

– Узнаю, что жалуешься, уважать не буду. Поверь- не буду совсем. Разбирайтесь сами, без взрослых. Ябедничать – последнее дело.

Я-то, конечно, согласна была с мамой, но Маринка ныла и бегала жаловаться каждый день, по сто раз. И РаисПална, отчаявшись, применила последнюю меру наказания. Она вызвала Юркиного папу на общее собрание. Это жуткое изобретение, под названием «Дети + родители», любили устраивать у нас в школе. В зал набивались многочисленные родственники учеников, и учительница вела диалог между нами и нашими родителями в присутствии всех. Собраний этого боялись все, даже отличники, причем ругали нас редко. Чаще хвалили, поздравляли, вручали грамоты, рассказывали об успехах. А тут...

Крепкий, похожий на старый деревенский дуб, в верхушку которого прошлым летом попала молния, суровый Юркин отец сидел на первой парте молча, опустив голову. РаисПална грустно переворачивала странички многострадального дневника, показывая на просвет дырки и зачитывая многочисленные, красиво и печально написанные замечания.

Юрка сидел рядом с отцом, смотрел в парту, иногда ковыряя пальцем на отполированной деревяшке, что-то, видимое ему одному. Его голова – бритая круглая, скорее даже овальная, вроде дыни, положенной набок, подпрыгивала от каждого РаисПалниного слова. Затылок покраснел, и можно



было представить, какого цвета были щеки. Наверное, как свекла, которую мама варит на винегрет.

– Скажите, Виталий Андреевич. Вот, я вижу, везде есть чья-то подпись, под каждым замечанием. Это ваша?

РаисПална подошла к папе поближе и сунула ему под нос Юркин дневник. Юрка набычился и засопел.

– Это я не видел, Раиса Пална,

Юркин папа загудел басом, и покраснел, не меньше сына. По его мощной шее градом стекал пот, он сжал руки в кулаки, размером с арбузики-мурашки, которые мой прадед засаливал в бочке,

– Это жена пишет. Читает, вернее. Подписывает, то есть, прочитавши...

Он совсем запутался, и вдруг, не с того не с сего врезал Юрке здоровенную затрещину. У того мотнулась голова, и он гундосо заревел, вытирая нос грязными, чернильными лапами.

– А дома еще схлопочешь, паразит. По первое число. Я тебя воспитаю.

– Виталий Андреевич. Нет! Разве это метод?

РаисПална запищала тоненько и испуганно, хотела вытянуть Юрку из-за парты, но Виталий Андреевич впал в раж, и добавил сыну ещё, уже вдоль спины.

Собрание было сорвано. Юрка ревел в голос, а РаисПална безуспешно тренькала колокольчиком. Мы с Маринкой зло-радно хихикали на задней парте, пока стоял шум, и все успо-

каивались. Наконец затихло, и РаисПална обратилась к нам:

– Вот девочек еще обижает. Вчера он прибил Мариночкин учебник к парте гвоздиками. Правда, Марина?

Маленькая Маринка вскочила и звонко лягнула на весь класс:

– А ещё, он меня в мальчуковый туалет за руку затаскивал. И дверь хотел закрыть, я еле вырвалась.

Настала зловещая тишина, в которой резко прозвенел звонок...

\*\*\*

Радостные вопли наших классных дурачков меня уже замучили, и я, прижав в груди свой заветный песенник, забралась в самый уголок дальней полупустой рекреации на втором этаже. Здесь казалось намного тише, этаж старшеклассников был под негласным табу для нас, малышей, но, спрятавшись за кадку, спокойно можно было пересидеть шумную перемену, и даже переписать новую песню, которую притащила мне Оксанка.

«Ах, васильки, васильки, сколько вас выросло в поле»... Я, почти каллиграфическим почерком, выводила круглые буквы, еле уместив тетрадку между подоконником и неловко выпяченной вперед коленкой. Надо было нарисовать еще васильки, а для этого у меня был замечательный, успешно спертый у Лешки, начальниковского сынка, голубой, ненашенский фломастер. Такого оттенка ни у кого, кроме Лешки

не было, я его тихо вытянула у него из красивенного пенала с мотоциклами и спрятала в карман. Он заметил – я точно видела скошенный голубовато-зеленоватый глаз, но промолчал, и даже отвернулся. Как будто нарочно. Точно – тоже втюрился, девчонки не зря хихикали.

Я высунула от старанья язык и ускорила темп, потому что уже кончалась переменка. «Помню у самой реки, их собирали...». Собирали-то их для Оли, но до Оли я не дотянула, потому что из дальнего угла коридора вдруг раздался визг и знакомый, писклявый вой. Маринка! Рванув со всех ног, я одним прыжком проскочила рекреацию, и в толпе старшеклассников заметила толстую спину Юрки. Он стоял в углу, около дальней двери и делал какие-то странные движения руками, как будто доил корову. Только вот голос у той коровы был знакомый.

При ближайшем рассмотрении картина оказалась плачевной. Маринка стояла, зажата между круглым Юркиным туловом и стенкой, согнувшись и мерно мотая головой. Приглядевшись, я поняла, что он, крепко стиснув в кулаках кончики Маринкиных кос, в ровном ритме дергает за них – из стороны в сторону. Причем дергает, похоже, давно, потому что у Маринки раздулся нос, опухли глаза, и она стала похожа на Ниф-Нифа. Гордые старшеклассники дефилировали мимо, практически не обращая внимания на мизансцену, и только пара олухов из восьмого А, стояли рядом, ржали и отсчитывали ритм. Как-то в один момент во мне образова-

лась бесстрашная и злая сила... Я сразу решила, что надо делать. Сунув песенник в карман, я отошла подальше и, с разбегу, тараном врезалась в мягкий Юркин бок, одновременно лягнув его под коленку. Гад отлетел в сторону, врезался в томную девицу из десятого, та поскользнулась на гладком школьном линолеуме и грохнулась поверх Юрки почти плашмя.

Пользуясь заварухой, я схватила совсем обалдевшую Маринку за руку, и мы понеслись ней в сторону девчачьей физкультурной раздевалки, сметая всё на своем пути. Заветная цель была уже близко, вместе с нашим спасением, и тут я услышала топот. Юрка нас догонял и, судя по распаренной физиономии, сосредоточенно насупленной и красной с самыми серьезными намерениями. Маринка даже побледнела, завыв в полный голос, и я поняла, что у нас один выход – вверх, по лестнице. Там, почти на чердачном этаже, маленькая раздвалочка была вроде секретика-скворечника. Мальчишки там не ходили. Я тычком протолкнула Маринку вперед, она взлетела испуганным воробьем, и скрылась за дверь. Я, уже на последней ступеньке обернулась и увидела, что Юрка, злющий, как черт подскочил к лестнице и сворачивать не собирается. Тогда, видя, что карта наша бита, а в руках у гада здоровенная, железная линейка, неизвестно за чем прихваченная, я схватила чей-то валяющийся портфель и сбросила его вниз. Юрка присел, и закрыл голову руками. Сквозь пальцы потекла кровь.

## Глава 6. Гаммы

Сказать, что меня обуял ужас – не сказать ничего. Внутри лопнул какой-то пузырь, из которого ледяной воздух хлынул в живот и голову, и я почувствовала, как кровь отхлынула от лица. Кожа стала холодной и липкой, в глазах замелькало и я вцепилась в перила, чтобы не упасть. По пустому коридору разнесся трубный вой, из физкультурного зала выскочил физвозник, и я поняла, что часы мои сочтены. Как через мутное стекло, я смотрела, как собирается народ, как обтирают Юркину лысую башку ватой, а потом бросают эту вату прямо на пол, и она лежит кроваво-белой кучей, страшная, словно в кино про войну. Как прибежала медсестра, и ее белоснежный халат светится в мутном свете коридора перламутрово и странно. Мне всё казалась нереальным, далеким, вроде и происходящим, но не со мной. Или во сне...

Потом всей толпой повели куда-то Юрку, он уже не трубил, а гнусаво хныкал, но я почему-то слышала это хныканье даже резче, чем рёв. В голове у меня звенело, я почти ничего не соображала и даже не заметила, что по лестнице поднялась мама. Она твердо, прохладной рукой сжала мою кисть и потащила вниз – быстро, практически волоком.

– Держи себя в руках. Ты сделала глупость, придется ответить. Большую глупость.

Меня вдруг прорвало, я затряслась так, что застучали зу-

бы, но плакать я не могла от страха, просто холод внутри еще усилился и заморозил мне что-то важное. Может сердце. Или желудок.

Мама присела на корточки, повернула меня к себе и посмотрела мне в глаза серьезным долгим взглядом.

– Ирк. Не трясись. То, что ты натворила – ошибка, случайность, глупый, дурацкий поступок. Но в нем нет зла, тем более —подлости. Только чистая глупость. Главное, чтобы там не было большой беды. Господи пронеси.

Мы с мамой стояли долго у дверей медицинского кабинета. Толпа уже начала расходиться, все постепенно теряли к случившемуся интерес. Мама держала меня за руку, никуда не уходила и терпеливо ждала. Я тоже вцепилась в её ладонь ногтями и держалась, как за соломинку. Мне казалось – если я её выпущу, то мир рухнет.

Подошла директрисса, что-то шепнула маме на ухо, она покачала головой и пожала плечами. Время тянулось, я оглохла на одно ухо, внутри него ватно хлопало. Наконец, открылась дверь.

Забинтованный, как партизан, Юрка смотрел горделиво. Его крепко держала за руку медсестра и он дергался, пытается вырваться. Наконец, освободился и прямым ходом направился к нам. Медсестра засеменила за ним. Я почувствовала, как мама вздрогнула, сжала мою руку, и её ладонь стала холодной и влажной. Всей той картины она не видела и такой забинтованной сплошь головы страдальца, явно не ожидала.

Я напряглась, и ужас еще больше стусился, где-то там, под ложечкой, став каменным и круглым,

– Ничего страшного. Медсестра смотрела на нас с жалостью, вроде как жалела больше меня, чем раненного бойца. Но, судя по всему, особенно она жалела маму, имеющую такое безобразное создание, как я, пробивающее портфелями головы всем направо и налево.

– Только кожу задели, пропорота слегка, за ухом. Там кровоснабжение хорошее, поэтому так кровило. Все заживет за пару дней.

Она погладила меня по голове, удивленно посмотрела на свою мокрую ладонь. Еще бы. Голова у меня была, как у мокрой мышцы. Рука у мамы расслабилась, она отпустила меня и присела перед Юркой. Потрогала его за свободное, торчащее из-под бинтов, ухо.

– Ты как, Юр? Очень больно?

–И ничо не больно, чо там больно.

Юрка загнусавил быстро-быстро, одновременно вытирая красный, сопливый нос.

– Вот когда Колька из четвертого б мне клюшкой засветил по шее, вот больно было. И то я не ревел. Вы Ирку не ругайте, Ангелина Ивановна.

– Почему, Юр? Она заслужила, вон чего натворила. Да и папа твой пусть придет, пусть поговорит с ней. По заслугам. А хочешь, мы с тобой ее выдерем? Знаешь, как раньше, розгами?

Мама испытующе смотрела на нас, я хорошо знала этот взгляд – озорной, провокационно-хитрый. Дразнилка. Она уже успокоилась, улыбалась затаённо, и мне стало легче. Но Юрка-то её не знал. И, похоже испугался. Драть меня розгами в его планы не входило.

– Не. Да вы чо. Кто живых детей дерёт?

Юрка вдруг повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Я первый раз заметила, какие они у него синие. И круглые, как мячики. И смешливые

– Она и не виновата. Она правильно за Маринку заступилась, Маринка маленькая. Я сам виноват...

\*\*\*

Гаммы сходились и расходились, то стучали молоточками, то тянулись резиной. Я поставила на пюпитр Кассиля – «Кондуит и Швамбранию» и, стараясь не сильно гоготать в самых смешных местах, тянула эту тощищу покорно, без конца повторяя одно и тоже. Так было легче читать, а папа сзади, в кресле мирно дремал, всхрапывая на высоких тонах. Главная задача – не делать больших перерывов, и не сильно заикаться, потому, что тогда он вдруг просыпался, открывал один глаз и спрашивал каждый раз одно и тоже:

– Ну как, Голяп? Пилишь?

Я кивала головой, он умиротворенно кивал в ответ, и мирно засыпал. Под Кондуит занятие проходило на ура, и все были счастливы. Кроме мамы. Если мама была дома, номер



не проходил. Вернее, он проходил, пока я шуровала гаммы, но вот дальше шёл Бах, а его, как на грех, мама очень любила. Обмануть её и с гаммами было непросто, но к ним она особо и не прислушивалась, а вот Баха ждала. Я оттягивала гадскую прелюдию, как могла, стараясь ухватить, как можно больше Кондуита. Но очередь все равно доходила, и мне приходилось смириться. Так, чтобы не проснулся папа, пиликающей одной рукой, я исхитрилась опустить Кассиля на пол и задвинуть его ногой под пианино. Получалось виртуозно, и только тогда я брала первые глубокие аккорды. Тут же слышались легкие шаги, открывалась дверь, и облачко нежного мамино аромата проникало в комнату. Она тихонько, почти на цыпочках, прокрадывалась и садилась на подлокотник папиного кресла. А я гордо выводила прелюдию, стараясь рассмотреть в полированной глади пианино мамино отражение.

– Ты сегодня неплохо играешь, чувствуешь музыку.

Мама всегда говорила эту фразу, слушая Баха и я знала, что сейчас у нее повлажнели глаза, а лицо стало нежным-нежным и мечтательным.

\*\*\*

– Знаешь, Ирк, я всегда так любила это время, когда мы уезжали. Ты даже не представляешь. Счастье такое чувствовала, как будто домой возвращалась. Там сейчас река такая широкая, зелень вокруг. На рыбалку поедем, может на раков.

Мы ехали на такси на вокзал, меня отвозили в деревню. Такси катило по уже чуть хмуращейся Москве, которой она бывает в теплые летние вечера. Еще не сумрак, но уже и не свет, тёплые отсветы на влажном асфальте от теряющегося среди домов неяркого солнца, запах нагретых клумб и воды, которой нещадно поливали и так чистые улицы. Машина ныряла в длинные тоннели-перегоны и тогда, в свете тоннельных огней, я видела блестящие мамины глаза. Она казалась совсем девчонкой, почти подружкой, которая рассказывала мне свои тайны.

– И ты там... знаешь... К цыганам поменьше ходи.

Она вдруг отвела глаза и помолчала.

– И их не поважай. Не надо...

Я ничего не сказала. Я прятала от неё в потайном месте сухой гладиолус, который мне перед отъездом, в прошлом году подарил Рамен.

## Глава 7. Рамен

Баба Поля истово клала поклоны перед черной иконой, на которой почти не было видно ликов. Бабушка стояла на коленях, прямо на домотканом коврике, расстеленном перед небольшим треугольным столиком. Я всегда удивлялась, как ей это удается – с таким большим, полным телом легко опуститься и также легко встать. Дед запаздывал к молитве, и я по бабулиному затылку, красиво обтянутому платком, видела, что она недовольна, и деду достанется. Скоро наступал яблочный спас и увиливать от молитвы, как я понимала, было очень плохо. Но хитрый дед увиливал, причем явно не в первый раз. Ему тяжело было стоять на коленках так долго, и он мостился, подкладывая подушку и распределяя вес. Потом размашисто крестил лоб, потом ещё и ещё, опускался ниц, почти приправ лицом к старенькому половику. Вздыхал с облегчением, кряхтя вставал, еще раз крестился и, тихой сапой, почти беззвучно, как в омут бросался в дверь, стараясь не скрипнуть.

Бабушка, чуть поворотившись всем телом, шевелила губами недовольно, словно говоря своё любимое «ишь», и снова уходила в молитву. Жужжали мухи – мерно, ровно, умиротворяюще, в комнате с опущенными ставнями было прохладно и как-то особенно легко дышалось, пахло яблоками

и квасом. Я подремывала, клевала носом, и чувствовала то тихое счастье, которое жило только здесь, в деревне.

\*\*\*

– Останешься еще на недельку, Ирк? У нас дел полно, потом с баб Аней приедешь.

Мама, несмотря на свою полноту, легко сгибаясь, ловко мыла пол огромной кухни. Большое ведро с мыльной водой она передвигала одним пинком белой босой ступни и я, сидя на сундуке, смотрела, как еще долго вода беспокойно плещется, плюясь белыми подтеками на непромытые крашенные доски. Мама высоко заколола пышные волосы, они кудрявились под шпильками и были уже совсем не рыжими. Я очень жалела, что мама перекрасилась. Из-под пепельно-светлой челки смотрели вроде те же зеленые глаза, но они были уже не такими яркими и не такими лисячьими.

– Ага. Останусь. Тут ещё все ребята, никто не уехал. И Ленка и Вовка. И Женька, – сказала я вслух, а про себя подумала — «И Рамен, тоже кстати».

Моя деревенская компания была веселой и шутливой. Несмотря на наш, уже довольно солидный подростковый возраст, мы толпой носились по деревне, успевая все и везде. Увязывались с дядьями за кукурузой и горохом, набиваясь в телегу до тесноты, прыгали с тарзанки, раскручивали окончательно заброшенную рыночную карусель до дикой скорости, так, что из нее летели старые винты и щепки. Часами

лазили по посадкам, собирая странные, кругленькие грибочки, которые после жарки на костре скрипели на зубах, как резиновые и были необыкновенно вкусными. Втихаря отвязывали дядь Борину лодку и уходили в дальнее плавание. С Вовкой. Очередным Вовкой, братом Женьки, моей новой подружки – толстым, бестолковый и до одури в меня влюбленным.

– Вот-вот. Именно! Женька и Вовка. Хорошие же ребята, веселые, умные. С ними и водись. А то цыгане. Закрытый они народ, потаённый. Не лезь к ним, я тебе говорю. Не лезь.

Мама разогнулась, вытерла руки о фартук, легким движением вытянула шпильку из кудряшек, тряхнула головой. Солнечный лучик пробился через пыльное кухонное окошко и зажѐг розовым огнем светло-пепельные пряди.

– Ты сегодня Женьку с Вовкой зови, гулять пойдем, вдоль речки, после ужина. Давай?

Еще бы не давай. Я до визга обожала эти прогулки. А ещё я поняла, что мама чувствует себя виноватой за свой отъезд. И поэтому не продолжает разговор о цыганах. А поговорить ей было бы о чем.

\*\*\*

– Нежная ты... городская. Пахнешь так... фиалкой что ли...

Мы стояли на берегу под кряжистой черемухой, спрятавшись в зарослях чернобыльника. Как так получилось, я да-

же не поняла. Просто хотела набрать бабе Поле ягод, она задумала пирог. И вдруг, он! Тихонько, неслышно подкрался, положил руку на плечо. Я вздрогнула, как лошадь, укушенная оводом, и хотела было ломануться прочь, прямо через кусты, но слабость стреножила меня, и я остановилась – резко, наверное, даже, всхрипнув. Дернув плечом, скинула руку Рамена, хрипло тьякнула — «Отстань», и тут же почувствовала, как полыхнуло в лицо горячим, и вспотела спина.

– Не злись, чергэнь\*. Глянь, я тебе что дам.

Рамен наклонился ко мне, видимо с высоты своего роста он мог разглядеть только мою макушку. Пригладил волосы тёплой, твердой ладонью и взял мою руку. Я сжалась и попыталась вырваться, но он крепко стиснул мои пальцы и развернул к себе лицом.

– Это мне мать дала. Говорит – невесте отдашь, когда время придет. А я тебе. Держи.

Он разжал мне пальцы и сунул в ладонь что-то остренькое и теплое. И снова крепко сжал мою руку, собрав пальцы в кулачок. Потом отпустил, даже слегка подтолкнул в спину в сторону тропинки.

– Давай, беги, цветок души моей. А то увидят, будут брехать. Нехорошо.

Я пришла в себя только на тропинке, когда неслась вдоль огородов, как будто за мной гналась стая бешеных собак. Задохнувшись, уселась на тыкву и осторожно разжала руку. На покрасневшей ладони лежала тоненькая веточка, слегка

поблескивающая стеклянной капелькой на маленьком ажурном Листик. Точно такой же брошкой, я когда-то заколола Оксанке воротничок...

\*\*\*

– ...Рааааасцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой..

Звонкий мамин голос разносился далеко и звенел в тихом, вечернем, степном воздухе, пропитанном запахами засыхающих трав. Мы дружной компанией бодро топали вдоль речки, куда глаза глядят. Правда хитрая мама видела цель, в руках у нее был здоровенный бидон и тряпичная авоська, которой она размахивала, как флагом. На обратном пути нам надо было завернуть к «хозяйке» за молоком с вечерней дойки и за творогом. Баба Поля корову уже не держала, но сметану делала, и на погребнице всегда стояла крынка, полная этой вкуснотищей.

На мне был новый нарядный сарафан и белые носки. По сравнению с чумазой Женькой и толстым Вовкой с голым пузом, нависающим над штанами-пузырями, я чувствовала себя королевой. Дурак Вовка набирал ромашки в неопрятный лохматый ворох и старался сунуть мне в руки, но тащить этот веник мне не хотелось, и я брыкалась.

– Мам. Что ты про груши эти так вопишь? Давай лучше про васильки, а? Помнишь, ты пела?

– Про васильки, Ирк, надо сидя петь. И влюбившись. Ты

вот – влюбилась? Вон Вовка может петь, а ты нет. Влюбиться надо. Да, Вов?

Она затеребила Вовку, пощекотала и пригладила лохматый чубчик. Вовка покраснел, вывернулся и замычал, как бычок:

– И ничо я не влюбился. Это она сама влюбилась. В Ромку – цЫгана.

Мама отпустила паренька, задумчиво на меня по смотрела.

– В Ромку, говоришь? Ну, ну... Ладно, давайте петь. Про васильки...

\*\*\*

Уже почти стемнело, на берег опустилась та нежная прохлада, которая бывает в конце лета, после жаркого дня. Мы брели по улице, тяжеленный бидон тащили по очереди, но маме не отдавали. Ужинать не хотелось, потому что «хозяйка», обожавшая маму, навалила нам по миске желтоватого, плотного, разваливающегося на сочные, влажно-зернистые пласты творога, залила их еще не «вставшей» сметаной и украсила темно-бордовыми пиками перетертой с сахаром смородины.

– Йишты, це витаминчик.

И мы йылы, пока животы не стали перевешивать усталое туловище...



\*\*\*

– И представляете, у неё нет даже кровати нормальной, спит на раскладушке. Папа не то, что бьёт её, он воспитывает, как он считает. Заставит лечь на лавку и сечет тоненькой хворостинкой. А мама плачет, но сделать ничего не может. Да и на работе она всегда, деньги зарабатывает.

Мама рассказывала нам историю своей ученицы, которая совсем недавно попала к ней в класс. Я видела эту девочку, она пару раз была у нас дома. Неровно и очень коротко стриженная, так что оттопыренные ушки казались в два раза больше, чем были, с большими серыми глазами и маленьким курносеньким носом, она была похожа на плохо сделанного чебурашку. Ходила сторбившись и немного боком, как будто стеснялась кого, или боялась. Мятое платье подчеркивало сутулые худенькие плечики, ножки были совсем тонкими, и ставила она их не красивым иксиком. И только руки у нее были необыкновенными. Белые, фарфоровые кисти, нежные, длинные, изящные пальчики. Её руки мне почему-то всегда бросались в глаза.

– И вот, Вера Павловна, это, ребят, Иркина учительница пения, как-то осталась в классе после уроков. Сидит, наигрывает песенку, которую они разучивают, листает ноты...

Мама всегда умудрялась рассказывать так, что я видела картинки воочию, вот и сейчас живо представила пустой, полутемный класс и красивый седоватый затылок Веры Павловны, склонившейся над стареньким классным пианино.

– Открывается дверь, заходит Юля, – продолжала мама, и ее голос стал совсем другим, тем, странным, ласково-задумчивым, которым она всегда говорила о детях

– На цыпочках заходит, она ведь всегда такая стеснительная. Подходит к Вере Павловне и вдруг, неожиданно громко и настойчиво говорит: «Научите меня, пожалуйста, играть. Я сама пробовала, но только гаммы могу и песенки». Вера Павловна посадила её за пианино, а Юля как начала вашу песню играть, да так здорово. А ведь никто не учил, сама. Её в музыкальную школу отвели, там на нее, как на чудо смотрели. Сразу приняли, без экзаменов. Она настоящий талант!

То острое чувство, которое я испытывала, когда ревновала маму к чужим детям, давно притупилось и я, наоборот, стала принимать самое горячее участие в её делах, соперничать, даже может любить эту постоянную детскую толпу, не переводящуюся у нас в доме. И сейчас, я слушала, открыв рот, и уже ненавидела поганого дядьку, Юлиного отца.

– Теть Гель, – Женька вынырнула из своей мечтательной задумчивости, она хорошо рисовала и тоже мечтала попасть в художественную школу, – А где она научилась-то? У нее же мама – уборщица, папа пьяница... У них что, пианино есть?

– Нет, Женечка. Она то в зал проберется школьный, у нас – там рояль. Спрячется за занавеску и ждет, пока не закроют. А дежурные жалеют, не трогают, не выгоняют. То у подруг. Где может, везде играет. Богом целованная...

Я вспомнила баб Полину икону. Ту, парадную, где потем-

невший от времени Бог, стоит на облаке и опирается на кудрявые головки ангелов. Представила, как он наклоняется и целует меня в макушку. Мне стало не по себе. Мой красный галстук уже должен был вот-вот смениться на комсомольский значок, и я была очень идейная.

– Просто она способная, причем тут Бог?

– Ладно-ладно, пионэрка, не кипятись зря.

Мама грустно посмотрела на меня и улыбнулась

– Яблоко бабушка даст святое, не упирайся, не расстраивай ее. Возьми... Вот я и еду пораньше домой. Надо что-то решать с Юлей. За ее обучение педсовет деньги выбивает. Да и с семьей надо что-то делать... Может прав эту сволочь лишать что ли...

Мама говорила уже не с нами, но мы слушали её рассказ, жалея Юльку до слез. А тихая луна потихоньку всходила над Караем...

*\*Чергэн – звездочка*

## Глава 8. Опять романо камам

– Нехристь, а не дитя. Зьишь яблоко, тады на гулянку пидэшь. А так – сиды.

Я впервые видела, чтобы баба Поля так сердилась. Всегда спокойная, величавая, как королева, она никогда не повышала голос и никого ничего не заставляла.

«Бог с вами и вашими дытями», – скажет ласково, перекрестит, повернется и пойдет, поплывет по двору, как большой, темный корабль. Гулять до рассвета, валять дурака с друзьями на сваленных у двора огромных бревнах, купаться до посинения, объедаться зеленух – с прабабкой можно было всё. Правда, если строго выполнить сегодняшние предписания на день. А они были невелики, эти предписания, но обязательны, и всегда интересны для меня, городской девчонки, которая при уборке ничего, кроме новомодного пылесоса в руках не держала. А здесь! Мазать хату смешной мочальной кистью, которая брызгается красивой, голубоватой побелкой, как норовистая лошадь хвостом... Да еще вместе с мамой, залиvisto хохочущей, когда белые брызги попадают на ее полные, обнаженные руки, стекая по ним тоненькими, светящимися ручейками. И получить целый веер щекочущих брызг в ответ! Или полоскать белье на мостках, гоняя смешливых лягушек и серебристых рыбок! Или дарить кир-

пичом крыльцо, отталкивая вечно пристающую маму, которая, оказывается, тоже обожает это делать.

И тут...

...Хлопнула дверь, повернулся со скрежетом ключ. Бросившись к закрытой двери, я, прижалась ухом к замочной скважине и услышала тяжелые, равномерные удаляющиеся бабкины шаги. Бросилась на кровать, зло зарыдала. Там как раз – сегодня, в клубе танцы. Нас, конечно, пока всерьез не принимали, но, подпирая часами стенки, мы строили глазки, как своим сверстникам, так и взрослым парням. И туда заглядывали цыгане.

Рамен... Рамен! Надо было спасти положение. Прорывав минут пять, я вытерла глаза и поняла, что дура. Окно! В него можно было спокойно катапультироваться и, оказавшись на свободе, пересидеть грозу в лопухах Женькиного огорода. А там, бабка, глядишь и отгадет, и все нормализуется. Я полезла на подоконник, пыхтя от натуги, но ставни с грохотом захлопнулись, упала задвижка. В комнате стало темно и тихо. Это был конец! Я поняла, что век воли не видать...

...Яблоко раздора, в прямом и переносном смысле этого слова, лежало на столе, на маленькой тарелочке, украшенный тоненькими крестиками, и отсвечивало восковым розовым бочком. Дед принес его сегодня из церкви и, судя по всему, противный, толстый поп с глазками-щелками, которые почти не открывались, когда он читал свои проповеди тонким голосом, сложив руки на животе под резным крестом,

окропил его водой, размахивая веником сомнительной чистоты. Яблоко полагалось съесть, причем не просто, а, перекрестив рот. Перекрестить рот! Это мне, пионерке, без пяти минут комсомолке! Которая все ле-то учила наизусть заветы нашей великой партии и во сне видела тщательно выглаженную лямку своего черного фартука с крылышком, на которой сияет комсомольский значок. Нет! Настоящие комсомольцы никогда не сдаются и не предаются великих идей. Чтоб оно сгнило, это поганое яблоко. Я бросилась на кровать, лицом в подушку и решила умереть. Лёжа!

...Когда я открыла глаза, резко, как будто меня толкнул в бок, в комнате уже совсем стемнело и только через щели закрытых ставень проникали острые лезвия лунных лучей и резали темноту на плотные куски. Один из лучей так ярко освещал чёртово яблоко, что оно казалось нереальным, и как будто висело в черноте, подвешенное на невидимой верёвочке. Но проснулась я не от света... Откуда-то, со стороны улицы, раздавался странный звук, вроде водили щепочкой по дереву. Глухой, скрипящий, но не неприятный, мягкий.

Я вскочила, судорожно натянула на занемевшие колени смятый сарафан, поправила всколоченные волосы, кое-как стянула их резинкой.

Звук затих, потом кто-то осторожно постучал. Теперь, когда я совсем очухалась, стало ясно – стучат в ставень.

– Кто здесь? Чего надо?

Я была, конечно, слегка трусовата, особенно в темноте, но комсомольская ярость еще не улетучилась, и я не испугалась. Глаза уже привыкли, я поискав какое-нибудь оружие, ничего лучше, чем здоровенная мухобойка, не нашла. Поэтому, взяв ее наперевес, подкралась к окну. Тщательно сделанная де-дом гладкая, толстенная палка точно легла в потную ладонь, а тяжеленный кусок резины на конце, которым можно было убить не только муху, но и пару ворон, живших на старой березе, внушал уверенность. Притаилась, вслушиваясь в ночные звуки и, поняв, что враг пытается открыть задвижку, приготовилась к бою. Ставня отскочила, я со всей дури замахнулась, но в последний момент, вдруг узнав владельца буйных кудрей, чья голова так красиво вырисовывалась в проеме окна, ойкнула. И почувствовала на своем запястье сильные пальцы.

– Ты же, красивая, убьёшь так. А молиться не станешь. Сгинет душа-то.

Рамен стоял прямо между мной и сбесившейся луной, а вокруг его головы сиял кудрявый ореол. Лица было не видно, но даже по голосу, я слышала, что он улыбается.

– Давай, вылазь. Ты ж хотела в клуб?

– Так поздно, Ром. Бабка узнает, убьёт. А баба Аня матери напишет. А мама не разрешала с... цы...

Я вовремя заткнулась. Рамен молчал, и хотя я не видела его глаз, взгляд обжигал мне кожу, где-то в районе переносицы.

– Пошли, радость, не бойся. Такая ночь. Ту миро ило\*

\*\*\*

Сколько было тогда Рамену? Шестнадцать, не больше. Мальчишка совсем, пацаненок. Но цыганские мужчины так рано взрослеют, и мне, избалованной маминой дочке, еще по-козлячьи скакавшей с подружками в классики, и лишь мечтающей о любви, он казался очень взрослым. Да и вел он себя не как мальчик, он давно созрел для взрослой жизни и кровь, горячая цыганская кровь уже бурлила, гнала, заставляла искать себе пару, чтобы вить гнездо. Я этого не понимала, но чувствовала, и то, о чем говорил дед Иван, прищурясь и чуть подняв бровь «Романо рат вас, что ли зовет» – звало. И я выскочила в окно, прямо в руки цыгану, стараясь, правда не особенно опираться о его теплую ладонь. Выскочила, быстро отпрыгнула, поправила лямки сарафана и растрепавшийся хвост.

– Пошли! В клуб!

– Там шумно, людей много. За реку пойдешь со мной? Посидим на бережку, смотри звезды какие. Дэ васт. На дар-пэ. Тэрэ якха сыр чиргиня.

Я ничего не понимала, но судя по тому, как трепетало у меня внутри, он говорил что-то запрещенное. Да и мама... предупреждала... Да и...

Но я пошла...



\*\*\*

Уже светало. Становилось прохладно, августовские ночи остывали быстро, особенно на берегу. Первые петухи пробовали хрипло самые высокие ноты, пахло дождем, низкие серые тучи почти ложились на потемневшую воду нахмурившейся реки. Мы брели по совершенно пустым, тихим улицам, держась за руки и я понимала, что повзрослела. Сразу, резко. В одну ночь. И хоть ничего особенного не произошло, просидев над рекой до утра, проговорив всю ночь обо всем и ни о чем, мы даже не целовались – что-то изменилось. Мир стал другим, краски вокруг проявились ярко и сочно, как будто кто-то протер пыльное окно.

И слова «романо рат» вдруг перестали быть для меня пустым звуком.

– Закончишь восьмилетку, сразу сюда!

Голос Рамена уже был совсем другим, не нежным и ласкающим, а твердым, настойчивым и немного резким.

– Я поговорю со своими, мы придумаем, как и что сделать. Ты не чужая, примут. Главное, мать уговори. Скажи ей – мне по-другому не жить! Она побоится, отпустит.

Он что-то еще говорил, но я почти не слушала. Представить мамино лицо с огромными зелеными глазищами, побледневшее от известия, что ее Ирка уходит в цыганскую семью, я не могла. И я молчала...

\*\*\*

– Иды быстренько. В хату, Анна шоб не видала тэбе. Баба Поля, как большая черная птица, загородила меня крыльями от приоткрытой двери баб Аниной комнаты, пропуская дом.

– И сиды тихо. Не вылазь. Она не видала, як ты шлындра-ла.

Я мышкой просидела в комнате до завтрака, потом скромно ела блинчики, не поднимая глаз. Баба Аня смотрела подозрительно на вдруг, неожиданно ставшую смирной, внучку, но ничего не говорила.

– Иди, сходи за хлебом. И масла купи, сливочного. Да домой сразу, матери пойдем звонить, на телеграф. Завтра в Москву, я билеты взяла.

Мир рухнул...

\*\*\*

Тогда, уезжая из деревни, сидя в вагоне уже трогающегося поезда, постепенно все быстрее и быстрее наговаривающего свое «ту-тук, ту-тук», цепляясь взглядом за ускользающие ивы и тополя, я искала высокую фигуру Рамена. Искала, смахивая слезы, отчаянно и бесполезно. Я его не нашла тогда, он не пришел... И тогда я еще не знала, что на следующее лето, когда мы приедем забирать в Москву бабу Полю, страшно и неожиданно ставшую одинокой, после тихого ухода деда Ивана, я уже не встречу своего цыгана. И что я не встречу его уже никогда.

И , наверное, больше никогда не вернусь сюда – к этой

реке. К нашему с мамой Караю... И в свое детство.

*Ту миро ило\* – ты мое сердце*

*Дэ васт. На дарнэ. Тэрэ якха сыр чиргиня – дай руку.*

*Не бойся. Твои глаза, как звезды.*

## Глава 9. Уход

– Никто не знает, Ир. Вернее, никто не скажет правды. Я тоже не знаю ничего. Хоть что-то и чувствую...

Мама сама начала этот разговор, видя, как я сохну в эти месяцы. Кончалась зима, я писала Рамену каждую неделю, и ни разу не получила ответа. Ни одного. Ни весточки. Как будто и не было той ночи, обещаний и клятв. Как будто не было ничего, и мне все это приснилось. Дни проходили в тоскливом тумане, я почти не могла учиться, начала получать тройки, а последняя двойка по английскому сильно удивила и встревожила маму. В один из февральских вечеров, когда папа был на дежурстве, а баба Аня уже ушла в свою квартирку, где они теперь жили с бабкой Пелагеей, мама под села ко мне, подкравшись почти не слышно. Я, как всегда, последнее время, сидела, уткнувшись лбом в холодное стекло и смотрела, как крутятся серые снежинки в свете фонарей и исчезают где-то там, внизу, в темноте. Теплая рука скользнула по волосам, чуть погладила щеку, потеревила за нос. Я повернулась.

– Брошку дай, Ир. Я знаю, она у тебя.

– Какую брошку, мам? Я ж её Оксанке отдала, ты забыла, что-ли?

– Ирк, не ври. Доставай.

Она покопалась в кармане и вытащила что-то. Это что-то

звякнуло о полированную столешницу и засияло в свете торшера, неярко, загадочно. Брошь! Почти такая же, как моя, только меньше, раза в два. Оксанкина, та что я ей тогда подарила! Да еще кольцо – тоненькое, изящно изогнутое, украшенное ажурным листиком с блестящей росинкой – капелькой. Я смотрела на это великолепие и не могла оторвать глаз. Тихонько вытащила из-под белья верхней полки шкафа свою и положила рядом. Мама сгребла все в кучку, прикрыла белой, полненькой рукой с розовыми, перламутровыми коготками.

– Он тогда это всё мне принес. Это гарнитур, очень простой, старый, старинный даже. Не знаю, украл ли, купил ли где... Я не спрашивала. Сказал: «Кольцо тебе, брошки дочкам. Или снохам, как повезет, кого мне родишь...»

Мама отвернулась к окну, её лицо казалось далеким, чужим, смутным. Я видела, что глаза у нее заблестели, но она смахнула слезинки, по-девчачьи похлопав ресницами.

– Но он врал, я знала. Вернее, не врал, но никогда бы не решился... Не смог бы пойти наперекор... И я это не взяла...

Я смотрела на маму, на ее красивое, ухоженное лицо с гладкой кожей, тонким румянцем и вдруг вспыхнувшими веснушками. Я ничего не понимала. Первый раз я увидела тоску в её всегда веселых, искрящихся глазах. Таковую тоску, что мне захотелось зарыдать, громко, как бабки-кликуши на деревенских похоронах – в голос.

– Кто, мам? Кто украл-то? У кого не взяла?

– Кто... Так отец Рамена твоего, кто же еще... И сын такой же – вылитый, в папу. И хочется им, и колется, и мама не велит...

Она помолчала, чуть кашлянула, голос хрипел.

– Он потом брошки жене отдал. А кольцо мне Райка передала, уже после. Когда он умер. Когда Черген его...

Мама резко повернулась ко мне, больно схватила за плечи и звонко сказала, прямо в лицо.

– Они, Ирк – черные! Душные. К ним – все равно, что в омут. Тонешь, дышать нечем. И вынырнуть невозможно. И на дно пойти хочется!

У меня опять возникло чувство, что мама говорит не со мной. Она это рассказывает кому-то, тому, кто понимает, кто утешит, может быть, поможет успокоиться. Этот слушатель был и далеко, и близко, и мне даже казалось, что я вижу его.

У него пышные, седые усы. Что там на нем? Пушистое, белое... Безрукавка, что ли?

...Мы с мамой одновременно пришли в себя и даже вместе потрясли головами, отгоняя наваждение. Мама встала, и уже совсем другим голосом, привычным, чуть насмешливым сказала:

– Забудь! У тебя классы вон выпускные. Потом в институт. Знаешь, какая жизнь тебя ждет? Чудесная, веселая, интересная. Ты городская, у тебя столько возможностей. И любовь, и радость – все будет. Только подожди.

Я, конечно, не верила, но вдруг почувствовала, что темная

пелена сползает с моего сердца. Или с глаз, не знаю. Вроде вытащили осколок от ледяного зеркала. Стало легче, разжалось что-то, и я заплакала, но совсем без горя, будто умылась прохладной водой в жару.

\*\*\*

– Ты Оксанк, больная, что ли, совсем? Что натворила-то? Я тебе говорила, скажи маме моей, у нее врачей знакомых навалом. Она бы помогла. Что делать теперь?

Мы с Оксанкой сидели на лавке у соседней хрущобы, за мусоркой. Там, с одной стороны, вечно была навалена куча из сломанных деревянных поддонов, какой-то бумаги, коробок, а с другой – высилась стена бурьяна, переходящего в лес. Это было наше тайное место, там мы делились друг с другом самыми главными секретами. И именно там, Оксанка, воровато покуривая в кулачок, впервые рассказала мне о своём Андрюшке. Лучшем на свете, настоящем принце из сказки, добром, щедром и ласковым. Андрюшка был на пару лет старше, на голову ниже и раза в два худей своей любимой, но счастьем это не фига не мешало. Краснея, чувствуя, как от подружкиного рассказа мне и стыдно, и сладостно, я слушала, что любовь – это не только вздохи на скамейке. И то, что в ней было еще, судя по Оксанкиным рассказам мне совсем не нравилось. И вот...

Серая, как стена, с землистыми губами, и такими глазами, вроде их выпили, и они превратились в дыры без цвета, Ок-

санка раскачивалась на лавке, держась за живот и беззвучно что-то шептала. Потом повернулась ко мне и просипела:

– Ир, помираю, кажись.

– Давай, я в скорую позвоню, а? Ну что делать-то?

Я бегала вокруг лавки и совершенно не знала, куда мне броситься. В голове стучало, сердце колотилось, я почти рыдала, но старалась держать себя в руках.

– Не, не вздумай. Они в школу сообщат и эту... врачуху посадят... а я обещала. Да и папка... Он меня бабке, в деревню сдаст, сказал.

– Идиотка!

Я судорожно соображала. То, что Оксанке очень плохо, это очевидно. И то, что сейчас решать, как поступать, нужно мне — очевидно тоже. А на весах многое. И тут, мне пришла в голову светлая и спасительная мысль. Мама! А кто же. Только она...

– Потерпи, Оксан. Я сейчас.

Оксанка облокотилась на спинку лавки, зажмурила глаза и из-под черных, длиннющих, пушистых ресниц заструились две тоненькие, блестящие дорожки. Я со всех ног рванула домой.

...

– Я поняла. Сиди здесь. Я быстро.

Мама больше не сказала ни слова, и что-то прошептав отцу, крепко схватила его за руку и утянула за собой. Я впадала в какое-то сумеречное состояние, как сквозь вату слышала



ла, что завозились в прихожей, потом хлопнула дверь в родительской спальне.

Протащив онемелые ноги по коридору, я попыталась проникнуть к ним, но мама, с распаренным красным лицом выскочила оттуда, развернула меня спиной и поддала коленом под зад.

– На, в ванную отнеси. И иди отсюда.

И сунула мне ворох жутких, кровавых тряпок.

Скинув страшный груз, я птицей сидела на кухне, на табуретке, поджав ноги и слушала, что происходит. Пришла Гелена, врачиха из районной больницы, я узнала её по голосу, ломкому, как хворостинка и капризно-тоненькому. «Такая изысканная, а ведь хирург, золотые руки», – говорила про неё мама. И часами втолковывала у нас на кухне правила Гелениной толстой, неповоротливой дочке, которая смотрела на мир пустыми прозрачными глазами. Ей правила были по барабану, зато в первый же подходящий момент, когда мама отвлекалась, она норовила утянуть из вазы печенюшку потолще. А лучше пару-тройку, быстро сунув одну в рот, а остальные в карман.

Кто-то еще заходил, шаркали шаги, хлопали двери, звенели какие-то металлические штуки. Наконец, все затихло. На кухню зашла мама. Она была еще взмыленная, но уже не красная. И, вроде даже слегка улыбалась...

– Иди, дура. Тебя Оксана зовет.

Я не поняла – чего я-то дура. Но, видимо, за компанию.

Поэтому, совершенно не обидевшись, приняв, как должное свою дурость, я кинулась мимо мамы, стараясь проскочить побыстрее, зная по опыту, что можно схлопотать по затылку, шутливо, но обидно. И краем глаза заметила, что в руках у мамы, похоже сигарета. Откуда она у неё?

\*\*\*

В темной прихожей было прохладно и пахло лампадкой. Я привыкла к этому запаху еще с деревни, когда баба Поля, встав на цыпочки, держась за оклад огромной иконы и слегка охая, ловким движением вытягивала фитилек из маленькой, закопченной стеклянной колбочки. Потом с трудом держала спичку, пока дрожащий, слабенький огонек не разгорится посильнее и не осветит суровое лицо Бога. Бог часто менял своё настроение, именно на этой, любимой стариками, иконе. «Парадной», как называла её безбожница баба Аня, чуть усмехаясь в сторону.

По святым праздникам он улыбался сверху – радостно и немного насмешливо, карие глаза становились тихими и ласковыми, а смуглые, худые руки нежно теребили мягкие кудри хохочущих толстых ангелов. А в хмурые, дождливые дни, особенно, если меня, провинившуюся, закрывали в комнате, он смотрел требовательно и даже зло, жестко держал ангелов за затылки, и у них было плаксивое, испуганное выражение пухлых лиц...

...Теперь эту икону отдали в деревенскую церковь, а баб-

ка молилась другому Богу. Почти незаметному на черной, потрескавшейся доске маленькой иконки. Её большая спина с трудом сгибалась в привычном поклоне, да и тесно было крупной, полной казачке в узком пространстве крошечной комнатки московской хрущобы. Иконка висела высоко, почти под потолком, и баба Поля не доставала до лампадки. Поэтому святой огонек тлел у нее на тумбочке около кровати, а лик Божий освещал трепещущий свет крошечной лампочки-ночника, похожего на входную лилию. Папа вставил в ночничок длинную лампочку и прикрепил конструкцию к иконке, каким-то, одному ему известным способом, заставив лампочку мерцать совсем живым пламенем.

...Бабушка часто сидела на кровати и, не отрываясь, смотрела на это мерцание. У нее слезились глаза, она уже почти ослепла, и плохо слышала. Больные ноги с трудом носили сильно пополневшее от постоянного сиденья в крошечный квартирке, тело, но на улицу она не выходила. Она и в деревне – то не шла со двора последние годы, так – до огорода и обратно. А тут... с пятого этажа... Но каждое утро, в пять, она вставала, умывалась, плотно стягивала почти не поредевшие волосы в тугий пучок и красиво затягивала его платком. И шептала Богу что-то свое, тайное, часто вытирая глаза краешком шали, такой же яркой и нарядной, как раньше... тогда... когда был жив дед...

– Детка моя золотэнька. Пиды до бабы.

Я подскакивала к ней, зная, что сухие, но ещё сильные ру-

ки быстро обшарят меня от ушей до хвоста, проверяя, теплые ли на мне штаны, все ли пуговицы пришиты, хорошо ли «убраны» волосы.

– Волосья подбери, ишь. Расхрыстала.

Она ловко приглаживала мои космы и совала мне в руку мятую конфетку.

– И панталоны нэ тэплы. Коза. Где мамка-то? Шлындрае?

...Мама забегала к бабкам каждый день. Быстро наведет порядок, сварит обед, простирнет, погладит. Потом сядет рядом с бабой Полей, прижметя и сидит, долго, как будто придремав.

Иногда заходил папа. Вот, кого бабка ждала, как манну небесную. Живой, любопытный ум, который она умудрилась сохранить до последних дней, был еще острее, чем у матери с отцом, во всяком случае, мне так казалось. До позднего вечера отец читал ей политические статьи из газет и они, размахивая руками и крича, что-то обсуждали. Мне было скучно, и я думала свои думы, периодически вздрагивая от особенно рьяных воплей. А бабка всегда побеждала в их неравной политической борьбе.

– И не спорь, мне жизнь учила. Ишь!

Папа смеялся и не спорил...

\*\*\*

– Со духи праведных скончавшихся, Пелагии, душу рабы Твоя, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже

у Тебе, Человеколюбче...

В комнате почти ничего не было видно от дыма кадила, свечек и сгустившегося, как масло воздуха. Желаящих проститься с бабушкой не вмещала наша большая квартира, и народ толпился даже на лестнице, у лифта. Дядя Боря, чёрный, как головешка, трясся от сдерживаемых слез, а его жена, тетя Лина, кивала на каждое слово попа белой кудлатой головой и плакала.

Баба Таня, тетя Галина, Ленка... приехали все. Гудящая толпа была похожа на шмелиный рой, и нарастал и нарастал шум – равномерный, странный, навязчивый.

Я стояла, прижавшись к маме и чувствовала, как напряженно ее тело, вытянуто в струночку и чуть вздрагивает. Черное шершавое платье неприятно царапало мне щеку, колело ухо, но я не отодвигалась, потому что думала – я отойду, а она упадёт. Но мама не упала. Она и не плакала почти, только шевелила губами, повторяя что-то за священником.

– Гель! Ты давай, держись-ка! Что это ты нюни распустила!

Тетя Галя стояла рядом с нами и говорила резким, хорошо поставленным голосом, рубя воздух ладонью, как топором.

– У тебя вон, мать на руках. Семья. Что молчишь? Бабка хорошую жизнь прожила, слава Богу. Восемьдесят семь! Тебе бы столько.

– Она пожила бы еще, – мама прошелестела еле-еле и отвернулась, глядя на большой дубовый крест на бабкиной мо-

гиле.

– Себя что ли винишь? – тетя Галя совсем рассердилась и почти кричала, – ты все сделала для нее. Все что могла! Она от болезни умерла, от старости. Давай-ка, чухайся. У каждого своя дорога

– Она от тоски умерла, – вдруг хрипло сказала мама, развернулась и пошла по дорожке к воротам...

## Глава 10. Давление

– Смотри, Ирка. Да не туда! Вон, глянь, какой носатый. Ну, ведь пропустишь все на свете, что ты в книжку свою впилилась...

Мама толкала меня в бок и щебетала, быстро, быстро. У меня было чувство, что она сбросила с десятков лет, и еще немного – рванула бы прямо через площадь к высокому, старинном зданию института, что бы успеть первой прочитать списки поступивших. А тут я толстая, неповоротливая, да ещё вечно читающая что-то, где бы мы ни были, не отрывающая глаз от страниц.

– Ир, иди, смотри же. Ну не мне же идти, я и так тут, как курица, бегаю.

Но списки я уже прочитала, фамилию свою нашла, а больше меня ничего не интересовало. Разве что Аксинья, все-таки пришедшая на свиданье к Григорию в подсолнухи...

– Ну что ты тоскливая такая. Ведь весело же здесь, ребят столько, давай – иди, знакомься.

Она почти пинала меня в сторону небольшой группки, стоящей у самого забора – высокого, из причудливо закрученных металлических прутьев с вензелями.

– Мам! Ну, отстань же. Я не знаю там никого, чего ты. Я потом.

– Потом – суп с котом! Сейчас только и узнавать, пока все по компаниям не распределились. А то так и останешься одна, как белая ворона.

Она схватила меня за руку и потащила по тропинке, но я уперлась, вырвалась, и, развернувшись, удалилась в тенистый маленький скверик неподалеку. Надувшись, села на лавку и снова раскрыла книгу, но мне не читалось. Краем глаза я наблюдала, как мама подскочила к ребятам и что-то весело говорила, привычным движением откидывая назад голову, круглую и большую от копны густых, пепельных волос. Блестели её зубы и глаза, и мне казалось, что я старше мамы, лет этак на пятнадцать.

А уж тоскливее – лет на сто.

\*\*\*

– Там очень интересные ребята есть, умные, грамотные. Мне понравились они... Саша, например. И Сергей. Красивый... На него уж все девахи глаза положили. Видела, высокую такую одну, волосы длинные, волнистые, светлые. Вот она – особенно.

Мы сидели у телевизора и лопали белые булки с вареньем и орехами. «Калорийные», – так их называли, и, судя по моим бочковидным бокам, булки вполне оправдывали свое название. Мама тоже булочки обожала, но любимым её лакомством были ореховые трубочки. Счастье они вызывали у неё необыкновенное, и мы с папой не ленились, раз, а то и два в



неделю, трястись на трамвае до дальней булочной, той, что у самого леса. Эти штучки продавались только там, вместе с косхалвой и прочими восточными радостями. Мама могла срубить их разом штук восемь, аппетитно запить молоком, и добавить еще парочку. Полнота ее почти не волновала, хотя я видела, что ей стало тяжелее ходить, особенно по лестнице.

– Да ладно, мам. Познакомлюсь. Куда спешить.

Мне хотелось сбежать скорее к себе, открыть книгу и уйти туда, где мир был ярким и радостным, где тоже любили и предавали, но красиво, по-настоящему. Не так, как у нас с Раменом. Последнее время я совсем ушла в тот мир и здесь меня почти не было. И все время так болела голова...

– Ир, не нравишься ты мне совсем. Квелая стала, отстраненная. Давай мы тебя с папой врачу покажем. Обследование сделаем, кровь... А?

– Не. Мне завтра в институт. Какие врачи еще.

Я спряталась в своей норке, включила торшер, взяла книгу... и ...унеслась...

\*\*\*

Знаете, что такое давление? То, что внутри головы, внутричерепное, как называют его доктора? Его не зря так называли, потому что этот поршень, состоящий из тяжелого и неприятно тёплого воздуха, давит так, что ты распластываешься по кровати, как червяк после дождя на асфальте, и ноги не справляются со свинцовым, неповоротливым телом.

И еще, самое страшное, ты не можешь читать, потому что вылазят глаза, и их хочется прижать кулаком посильнее, за-  
пихнув обратно. Человеческая еда не лезет в глотку, хочется  
чего – нибудь зверского. Чтобы прочистить внутри. Напри-  
мер – пары-тройки лимонов, но не чищенных и с сахаром,  
как мне давала баба Аня, а прямо кусать, вместе с кожурой  
и глотать, аж захлебываясь. И больше ничего.

Что я и делала, не обращая внимания на испуганные круг-  
лые карие глазки бабушки, пытающейся выдрать лимон из  
моих, крепко сжатых пальцев.

– Может нам её в больницу, Гель, смотри, что творит...

Голоса гулко доносились из кухни, дребезжа, бились о  
стенки длинного коридора, а потом ухались в мою картон-  
ную голову, дробясь на глухие, неприятные звуки. Баба Аня  
всегда была сторонницей кардинальных мер.

– Ты, мам, рада всех по больницам рассовать. И меня, и  
Ирку. Зачем?

Голос мамы был совсем другим, хрипловатый и нежный,  
он струился по коридору шелковой лентой и обвивал, касал-  
ся кожи, уменьшая боль.

– Там психотерапевты есть. Ты что, не видишь, как она  
изменилась. Молчит, смотрит куда-то, все время одна. А ли-  
моны! Видала, как жрет? И давление такое, как у старухи. И  
то еще – внутричерепное. Еще гидроцефалия начнется. Тол-  
стеет, смотри, страшная какая стала. Ты такой не была...

Ветеринарное образование бабы Ани не прошло зря, ещё

немного и она произведет вскрытие моей башки или сделает клизму. Неизвестно что, у нее получится лучше, с ее опытом-то работы с коровами.

– Мы разберемся, мам! Займись собой, ты вон, смотрю опять – красotka. Вот и занимайся. Мы сами.

Я услышала, как мама раздраженно хлопнула дверью балкона и тот, мой любимый и запретный, терпко-дымный запашок чуть разбавил плотный, сладковатый запах болезни.

\*\*\*

Невольное заточение подходило к концу. Усилиями хороших врачей, маминых знакомых, мою бедную голову привели в порядок, облегчили, охладили, стабилизировали.

– А что же вы хотели... Такая нагрузка. И неуверенность в себе, с такой внешне... Ну вы понимаете. Для молодой девочки все это даром не проходит...

Худая, как сушеная вобла, старая врачиха, заведующая каких-то там кремлевских клиник, смотрела на меня, вроде я муха в стеклянной банке. Смотрела долго и испытующе, потом оттянула веко, точно, как доктора в старых фильмах, зачем-то заглянула в ухо, и крепко ухватив за голову цепкими лапками, резко наклонила к коленям. Так же резко выпрямила и заглянула в глаза, видимо ожидая, что они побегут по кругу, сверкая белками. Они, похоже, не побежали, хотя и перевернулся вверх ногами торшер. Раздраженно, скорее разочарованно цокнув, врачиха вытащила из сумки

красивый, розовый длинный рецепт и быстро записала в нем тоненькой красно-серебристой ручкой. Шмякнула рецепт на стол и раздельно сказала

– ДЭпрессия! Скоро! Завоюет! Мир! Тебе, детка, надо к людям. Похудеть, лицо полечить.

Я подумала, что плюну в её щелястый, искусственный рот, если она только попробует вякнуть про мои прыщи. Старушенция поняла, наверное, но продолжила:

– А для этого влюбиться надо. Сразу похудеешь. Мужчину надо. Мужские гормоны – лучшее средство при акне.

Я посмотрела на маму, и при виде её округлившихся глаз, нарисованных красивых бровок, поднятых домиком от изумления, мне стало смешно. Мужские гормоны в виде мужчины, как лекарство для своей семнадцатилетней дочери она явно применять побаивалась и растерянно смотрела на эскулапшу. А я все-таки расхохоталась и почувствовала, что мне легче – поршень приподнялся и перестал давить.

– Вам серьезно говорят, ничего смешного.

Врач обиделась, видя, что мама тоже зажимает ладошкой рот, чтобы не прыснуть

– Вот рецепт. Боюсь, вам этого не достать, поэтому на обороте я написала лекарство попроще. Но поможет именно то, первое!

Она встала и посмотрела на маму. Мама сунула ей конверт и покраснела.

– Этого достаточно, – с видом английской королевы, рас-

печатающей письмо от посла иностранной державы, врач заглянула в конверт и удовлетворенно кивнула головой, – Не сможете достать лекарство, звоните.

– Я достану, – мама резко захлопнула за врачихой дверь.

\*\*\*

– Мам... может мне стоит все-таки джинсы надеть? Как-то это платье... слишком строгое, там все в блузках и водолазках, а?

Мы сидели в спальне, плотно прикрыв дверь, спасаясь от диких звуков, которые издавал папа. В другое время такая его тональность была бы безжалостно изменена мамой до нормальной, но тут шел матч. Футбольный. Заставить его молчать, это было бы все равно, что убить, и мы ретировались сами. Мама сидела перед зеркалом и делала то, за чем я с детства обожала наблюдать, и могла бы наблюдать часами. Всякие баночки и притирочки, красивые ватки, тоненькие кисточки, флакончики и пинцетики, все это было у мамы шикарным, привозным, редким. Особенно мне нравился один флакон, высокий, синий, изящный, похожий на амфору. Из него мама ловким движением вытряхивала на ладошку желтоватый нежный крем и размазывала по щекам и шее, от чего они разу становились блестящими, упругими и молодыми. Потом брала здоровенную расческу с редкими толстыми зубьями и продиралась через непроходимую чашу пепельных волос, иногда болезненно кривя уголок полного

розового рта. Потом снимала серьги и кольца, каждый раз разные, укладывала их в бархатную шкатулку...

– Мам, а мам...

– Ирк. Ну что ты нудишь, как маленькая. Надевай, что хочешь, но я бы тебе все же платье советовала. Оно тебя худит. Ты становишься девушкой, а не подростком. И вот еще... Реснички подкрась, давай-ка я тебе тушь подарю. И помаду, шикарную, такой ни у кого нет. Ты почему не красишься?

– Ты же не разрешала!

Я выпучила глаза, это было новостью.

– Да и бесполезно, мам. Ты сама-то красивая вон, даже хоть и в возрасте таком уже. А я...

Мама бросила расческу, повернулась ко мне, взяла за плечи. Глаза смеялись, искрились, и даже кололись зелеными иголочками.

– Какое это – такое в возрасте?

– Ну, в таком.... Пожилым... А все равно, ребята, тогда в институте, все тебе вслед смотрели. А на меня ни один. Никто!

Мама вдруг стала серьезной, тихонько сказала:

– Все будет у тебя, Иришка. Все будет. Смотри, ты здоровая, умная, сильная. И красивая, очень. Просто сейчас на тебе лягушкина кожа. Это правда, я точно знаю. И еще я знаю – она обязательно спадет, скоро спадёт. Ты уж поверь моему опыту, я таких лягушечек сотни встречала. Почти все царевнами становились.

Она помолчала и добавила грустно.

– За редким исключением... Сейчас у меня девочка одна учится. Талантливая, стихи пишет. Лицо обожжено, полностью. И знаешь, почти не замечаем уже, совсем. Изнутри она светится.... Слушай!

Мама резко сменила тон.

– Завтра пойдем бабкин заказ выполнять, когда ты из института явишься.

– Какой еще? Что она опять выдумала?

– Не поверишь! Платок с кружевами. Белый!

– Чего это? Для фаты что ли?

– В точку! Она жениха нашла. В лесу. Как гриб!

Глава 11. Сергей

– И куда ты? Ведь здесь Москва, здесь всё, и в институт можно поступить, и на работу устроиться. Да и квартира, все-таки.

– А, Ир! Папка, как женился, ваще меня в упор не видит. Только на тетю Люду и пялится. Она тетка хорошая. Вот только я ей не нужна.

Мы с Оксанкой сидели на своей лавочке. Темнело, московская осень уже заняла город, укрыв его толстым покрывалом рано облетающих кленовых листьев. Пахло грибами и холодом, который уже потихоньку присматривался к улицам и скверам, чуть хватая по утрам хрусткой корочкой лужи. Мне всегда было грустно осенью, хотелось плакать, писать стихи про кровь-любовь, или бежать куда-нибудь в теп-

лые страны, закусив удила. А тут еще Оксанка уезжает. Как жить? У меня текли слезы, почему-то больше из левого глаза, того, что ближе к подружке и я вытирала их растянутым рукавом кофты.

– Не нюнь, Ирусь. Я у бабки годик поживу, мне там лучше будет. Замуж выйду, там есть один... тракторист. Ничо так, здоровый жлоб. У него хата. А потом сюда... Посмотрим, в общем. А то, щас – прям встать некуда, не то что сесть. Теть Людины детки припрутся, так я на табуретке весь вечер, как курица на насесте. Не, не могу... поеду я.

Я смотрела на Оксанкин профиль, красивый, точеный и понимала, что мне её не уговорить. Она всегда-то была старше, хоть и не по возрасту, а теперь, когда после неудачной беременности вдруг поправилась, подстригла свои густые волосы коротко и стильно – стала совсем взрослой. И... не моей Оксанкой. Совсем не моей. Я осталось там где-то, смешная и неповоротливая девчонка, а грустная, все понимающая женщина покидала его... наше детство.

\*\*\*

– Ир. Вот это Оксане передашь. Только тихонько, чтоб дядь Толя не узнал. Отнимет.

Мама уходила на работу, но, остановившись в дверях, поманила меня пальцем и протянула большой конверт. Строгая, в темном костюме с бежевым, атласным платком на шее,



заколотом перламутровой камеей, она была похожа на актрису с баб Аниной открытки, Только я не помнила – на какую. Высоко поднятые, пышно взбитые волосы открывали лоб. Розовые уши просвечивали насквозь и были украшены такими же, как брошь, камнями, только поменьше. От новой модной помады её рот, и так не маленький, казался еще больше и ярче. Да еще глаза... В жизни она так их не красила.

– Мам, ты чего такая?

– Подожди, я не договорила. Потом об этом. Так вот, там деньги. Их не мало. Поэтому, пожалуйста аккуратнее, ты уже взрослая кобылка. И Оксане скажи, чтоб внимательнее была. Хотяяя... эта не потеряет.

– А зачем ей?

Мама посмотрела на меня, как на дурочку, был у неё в арсенале такой взгляд – жалостливо-понятливый.

– Деньги зачем? Жить. А зачем же ещё.

Действительно, я даже растерялась. Зачем же еще... Правда я не понимала, почему, когда вчера я выпрашивала новые модные джинсы, с трудом налазившие на мою задницу, но все -таки чудом налезшие, то денег не оказалось. Я было обиделась, но мама так уверенно сунула мне конверт, что я заткнулась, посчитав вопрос дурацким.

– На твой второй вопрос – отвечаю!

Мама уже смеялась, красотки на камнях покачивались и тоже хихикали,

– Твою мать! Дочь моя! Пригласили на работу в Останки-

но. В кино!

Я ошалело смотрела на маму, понимая, что ничего не понимаю.

– Да, да, да. Один оччень интересный режиссер посчитал меня необыкновенно талантливой.

Она поправила пышную прядь, выбившуюся из прически и показала мне язык в зеркале.

– И красивой!

Победно взмахнув модной лакированной сумкой, мама развернулась на своих высоченных каблуках и ушла. Каблуочки, процокав по плитке коридора, затихли.

– Вот, вот.... Голяп... Представляешь? Артисткой будет...

Папа стоял сзади, в дверях большой комнаты. В тапках, в растянутой футболке, немного лысоватый – добрый мой, любимый папа, был растерян и грустен. Потерян даже...

– Да ну, пап. Какой еще артисткой! Она сбежит к детям через неделю. Не дрейфь.

Папа пожал плечами, повернулся и непривычно сгорбился, втянув голову в плечи, вдруг став сутулым и маленьким. Снова пожал плечами и, чуть шаркая, побрел по длинному коридору на кухню. Через минуту загудела дремель.

\*\*\*

В огромной, пронизанной холодным октябрьским солнцем аудитории, было полно студентов. Я неуклюже лезла, как

в гору, на самые верхние ряды,

прижав к себе чертов школьный портфель.

– Нафига я взяла его, ведь мама сумку подарила, такую модную. Завтрак не влез, блин. С такой задницей, как у меня можно неделю на внутреннем топливе работать. А не завтраки с колбасой жрать...

– А у нас все дома, мадам, – с издевкой, громко, в полной тишине, сказал профессор.

У профессора была львиная седая грива, ну точно, как у всех профессоров. Он смотрел на меня, прищутив один глаз, видно так лучше концентрировалось в его поле зрения мое расплывчатое тело в идиотском платье с большим воротником.

– Извините, – хрипло просипела я и растеряно остановилась, не зная, куда идти дальше.

– Ну вы уж следуйте своим курсом, мы прервемся, пока вы не присоединитесь к нашему неинтересному занятию, – профессор сделал глубокую паузу, вскинул одухотворенное лицо и замер...

– Иди сюда, не стой под стрелой.

Резкий, гортанный голос прорезал хихиканье однокурсников, как ледокол мутный лёд. Я полезла по деревянной лестнице с невозможно высокими ступенями, споткнулась раз пять и никак не могла найти свободное место. Я, наверное, брела бы, пока не довела профессора до кондрашки, но кто-то дернул меня за руку и я, не удержавшись, плюхну-

лась на сиденье.

– Давай сюда, хва ползти, – голос был насмешливым, но приветливым.

Скосив глаза, я увидела нос. Нос был изящный, тонкий, но горбатый, при этом гордый, как у грузинов. Я осторожно повернула голову и растворилась в серо-зеленых, слегка раскосых смеющихся глазах. В них блестела легкая такая, неуловимая сумасшедшинка. Но парень был красив... И была в его красоте этакая ломаная, томная изысканность.

– Привет, – улыбнулся он, – Чего нахохлилась, как квочка. Меня зовут Сергей.

Сердце у меня приостановилось на секунду и сладко рухнуло, меня обдало жаром, как будто напротив распахнули дверь бани. И даже запотели очки. Я их зло сдернула и бросила на стол.

– Комплексуешь? – Сергей смотрел весело и испытующе, – Ну ну...

–Ничего я не комплекую! Отвали!

Фраза получилась беспомощной и злой, как лай.

\*\*\*

– Ну... и...

Мама медленно мешала тоненькой ложечкой красивый, темно-янтарный чай в полупрозрачной чашке, вгоняя ломтик лимона в образующийся бурун. Сильно покрашен-

ные глаза были такими красивыми, что мне вдруг стало не по себе. Я рядом с ней всегда казалась себе страшной, серой, неуклюжей.

– Он положил на тебя глаз? Почему рядом-то усадил?

– Не знаю я, мам. Там девчонки ополчились на меня, особенно, та, блондинка. Ну, ты её видела... Светка её зовут.

– И ты?

Мама тянула резину, она так всегда делала, когда хотела вытащить из меня что-то такое, чего я не знала сама. И у неё всегда получалось.

– А я сказала ему, чтобы отвалил.

– Ну и дура! Знаешь что! Давай их у нас соберем, всю твою группу. У меня записи есть, музыка такая, что у них челюсти отвалятся. И сделаем фуршет – по правилам высшего света! Я вот видела недавно, повторю, мне раз плюнуть. Все лопнут от зависти. Ты станешь заметной. Это важно.

– Не знаю, мам... Ты лучше скажи, тебя в кино взяли?

Мама погрустнела, даже лицо как-то сдулось, стало старше, темнее, как будто кто-то сыпанул на нее мельчайшую, пыльную пудру.

– Представляешь, Ирк. Берут! Но я не иду...

– Мам, ты чего? Это же в артистки. Это же здорово!

Я врала, а сама чуть не заревела от радости, как маленькая, но мама щелкнула меня по носу.

– Не в артистки, а в статистики. Посмотри на меня – ну

какая я статистка! Я же королева подмошков...

Она снова улыбалась, той своей затаенной улыбкой, которую я не любила, боялась и никогда не понимала.

– Да и дети... и папа... Туда идти – всех предать надо. И тебя предать, куда деваться – там такая цена. У меня нет столько средств на эту плату...

\*\*\*

Вечером мама с отцом уехали в Кремлевский буфет, где работала мамина «родительница» (так называла баба Аня всех мам школьников) за пирожными. Теми, необыкновенными, с белыми воздушными лебедями. Мама явно решила убить моих однокурсников насмерть, одновременно сразив сердце Сергея невиданными возможностями его избранницы. В квартире было пусто и темно, я слонялась по углам и не знала, чем заняться. Решив посмотреть старые мамины фотки, я взгромоздилась на табуретку, чтобы достать с верхней полки гардероба заветный кожаный сундучок. Все это фотки я знала наизусть, но мне никогда не надоедало рассматривать школьников и школьниц с такими знакомыми, но такими молодыми лицами. Как будто добрый волшебник коснулся их хрустальной палочкой и с них слетела, как шелуха с лука и усталость, и морщинки, и грусть. Я трогала лицо мамы-школьницы, оно было таким... прекрасным.....

Сундучок застрял, зацепившись кованым уголком за здоровенный старый чемодан, я с силой дернула, и он выпал,

глухо бухнувшись о ковер и развалившись на две части. Следом вылетел пакет с какими-то бумагами, а за ним маленькая сумочка, похожая на косметичку. Я никогда ее не видела, вернее раньше там её точно не было.

Мне почему-то стало страшно. Дрожащими руками я щелкнула круглыми защелками и достала свидетельство о рождении.

«Ирина Викторовна», было написано в нём.

## Глава 12. Накидушка

Руки у меня дрожали, и я никак не могла засунуть назад эту штуку. Но когда все-таки справилась, наконец, застегнула молнию и села на кровать, ошалевшая донельзя, спасительная мысль пришла в мою бедную голову.

– Ошибка! В этом дурацком деревенском загсе просто неправильно записали отчество моего папы, им ведь все равно, вечно сонным клушам. Вот так, одна дура...

Продолжая возмущенно бормотать, я начала собирать остальные бумаги, которые валялись на полу, подобно подбитым выстрелами птицам. И, помимо желания, все-таки просматривала надписи, сама не зная зачем. ...Свидетельство об удочерении я с силой закинула на самый верх, точно попав за чемоданы, вроде как всю жизнь занималась метанием свидетельств...

Кто-то зашебаршил ключом. Судорожно запихнув все остальное, задвинув сундучок с фотографиями на место, я, как воришка, прошмыгнула в свою комнату и плюхнулась за стол, тщательно пригладив растрепавшиеся волосы и «сделала лицо», как говорила мама.

– Ты что, Голяп, сидишь так одна, в темноте, не заболела? Иди. Я тебе тут от зайчика принес.

Чувствуя, что еще минута, и зарыдаю белугой, я выско-



чила в коридор, схватила шоколадку, мятую, теплую, почти растаявшую и, пряча горевшее огнем лицо, зарылась в папино плечо. Я уже знала – никогда, ни под какими пытками я не скажу ему о своем открытии. До самых последних дней...

\*\*\*

Последний штрих на моей толстощекой физиономии превратил меня в луноликую. Мама пожертвовала той самой пудрой, которую ей привезли из Японии. Это была даже не пудра, это была драгоценность, стоимостью, наверное, с машину Волгу. Металлическая коробочка пудры была расписана розовыми цветами и странными птицами, защелка светилась зеленоватым огнем, а внутри была субстанция, делающая чудеса. Во всяком случае, моя пятнистая мордуленция чудесным образом засветилась и стала немножечко ровнее. Правда в красавицу Светку она меня все равно не превратила. Я тщательно упаковала свое толстое тулово в модные джинсы и кофту — размахайку, но предательские складки выпячивались с боков, а задница не лезла в зеркала трюмо, и троилась на противные одинаковые булки.

Мама постояла задумчиво сзади, потом чуть распустила шнурок моей размахайки и еле слышно сказала, скорее себе, чем мне:

– Да... надо кашу пореже что ли...

А вслух, чуть погромче —

– Ты на папу стала очень похожа... такие глаза, карие, с зе-

ленным ободком. Карие – его, ободок – мой.

Я вздрогнула и промолчала...

\*\*\*

Ребята из группы привалили сразу, всей толпой. Весело толкаясь, скинули в прихожей куртки, и стеснительно выстроились шеренгой вдоль всего нашего длинного коридора, переминаясь с ноги на ногу. У Сережки был драный носок, выглядывал палец, он все время пытался спрятать эту ногу назад и был похож на смущенную цаплю. Светка победно размахивала белокурой кудрявой копной и строила глазки одновременно всем ребятам и от старания даже чуть косила. Ленка рыжая, как лисенок, принюхивалась тоненьким изящным носиком в сторону кухни, плотоядно облизываясь.

– Вот ведь, везет некоторым. Такая обжорища, а как тростинка, – беззлобно подумала я, мне Ленка нравилась, мы даже уже начинали дружить.

– Проходите, ребят, что вы выстроились, как на параде. Там, – мама махнула полной белой рукой в сторону зала, – Стол, налегайте. А там, – махнула уже в сторону моей комнаты, – танцы. И не стесняйтесь, квартира в вашем распоряжении. Только мебель не ломайте.

Ребята ломанулись к столу, но стулья хитрая мама не поставила, так как был фуршет. К фуршету народ приучен не был, поэтому, разложив маленькие бутербродики по тоненьким фарфоровым тарелочкам, расселись – кто, где мог. Мама наливала шампанское в протягиваемые фужеры, у нее

так блестяли глаза, что казалось она помолодела лет на пятнадцать, пепельная прядь все время выбивалась из прически и падала на глаза.

Ленка влезла пальцем в белого лебедя на пирожном, смачно его облизала и спросила маму

– Ангелина Ивановна, а Ирка говорила вы рыжая, как я. Прекрасились?

– Леночка, – мама растерялась на секунду, потом расхохоталась, – рыжие они все ведьмы! Знаешь это? Вот и ты тоже, смотри, бабой Ягой станешь. Но не перекрашивайся, не надо, тебе очень идет. Она поиграла Ленкиной рыжей прядкой и щелкнула ее по носу. – Вон, какая красавица.

Я сидела на кресле и тянула лимонад. Настоящие женщины не пьют спиртного и не курят – мое убеждение, взятое неизвестно откуда, было непоколебимым. А запах сигарет уже неуловимо витал в воздухе сумрачных комнат, все явно где-то покуривали, отлучаясь незаметно по очереди. И вечер становился все таинственнее, мама включила музыку, она тянулась томным тягучим шлейфом, и, казалось, от нее колебались огоньки свечей.

– Пойдем, потанцуем? Что ты сидишь одна?

Я удивленно подняла голову. Меня в жизни никто не приглашал танцевать, я давно привыкла, что, такие как я не танцуют. Им положено много читать, много думать, у них короткие некрасивые стрижки на круглых головах, прикрепленных к толстым шеям. У них маленькие пороссячи глазки

скрыты за толстыми стеклами близоруких очков, большие конопатые носы и жуткий характер. А танцевать? Да не смешите.

– Пошли! Я приглашаю.

Сергей стоял у моего кресла и нетерпеливо постукивал пальцем по полированному подлокотнику. Мама дала ему тапки, и он явно стал чувствовать себя увереннее. Тонкие узкие губы чуть скривились в непонятной усмешке, он смотрел странно, как-то в душу. У меня все внутри захолонуло, но я встала. И пошла...

...Танец кончился мгновенно, наверное, я была все это время без сознания. И потом, всю ночь, ворочаясь без сна в шершавой постели, я чувствовала обжигающие ладони на своих жирных боках. И горячий шепоток у уха.... Только я совершенно не разобрала – что же он говорил...

\*\*\*

Мы не нашли белый кружевной платок для бабы Ани, но, намотавшись до полусмерти, в маленьком деревенском сельпо на окраине купили накидушку для подушки. Не помню уже, как она называется, но раньше, в деревне, такими накрывали гордую подушечную стопу, на которой верхняя, самая маленькая, ставилась уголком, так что получалось остренькое ухо. На ухо и вешали эту штуку, она ниспадала красивыми складками, утопающими в оборке. Наша же была необыкновенно хороша. По нежному кружевному полю бы-

ли вышиты белоснежные розы, пышные, королевски-величавые, а по оборке порхали бабочки.

Развернув бумагу, баба Аня растерялась. Помолчала, покрутила накидушку в руках, потом сложила уголком и надела на голову, чуть присборила сзади, задрапировав негустой узелок седеющих волос. И тут ей понравилось! Порозовев от удовольствия, она вытащила из кармана своего байкового халата помаду и залихватским движением накрасила губы.

Я обернулась и посмотрела на маму. У мамы был ошалевший вид, потому что последние тридцать лет, такой картины она явно не наблюдала.

– Мам... а мам, – ее голос вдруг стал смущенным и осторожным, – Ты бы сказала, что тебе помада нужна... я бы тебе купила... более подходящую... по цвету...

Я, конечно, могла бы добавить, что неделю назад мне попало по первое число за пропажу этой помады. Мама искала ее везде, чертыхаясь, лазила под кровать и шваброй гоняла из-под тяжелой стенки комья пыли. И что ярчайшая помада любимого мамино термоядерно-розового цвета, была привезена ей прямым «оттель», как она любила говорить, и цены ей просто вообще не было. И полдома было поднято по тревоге, и что получил пару ласковых ни в чем не повинный папа, и что горю не было предела. Но я ничего не добавила, потому что не успела...

Баба Аня гордо посмотрела на нас и потеряла неровный

контур ярко-розовых губ.

– Ничего! – она перевязала узел накидушки, превратив его в кокетливый, пышный бант, – мне и эта нравится!

... Мы с мамой растерянно смотрели ей вслед, одновременно вздрогнув от резкого звука хлопнувшей двери. Потом одновременно вышли на балкон и долго смотрели вслед уезжающей Волге, в которую села бабуся, крепко хлопнув отполированной дверью.

– Свадьба, наверное, будет, – пошутила я и, поймав мамин взгляд, поняла, что неудачно...

## Глава 13. Лягуха

Вот и очередная московская весна прощалась с городом. Полетел тополиный пух, от которого вечно чесался нос и краснели глаза, по утрам исправно начали ездить поливалки и уже к десяти лужицы парили от яркого, сильного солнца. Настало время ехать на институтскую биостанцию. Для нас, первокурсников, это было обязательной практической нагрузкой, но я была счастлива. Во-первых, потому что я вообще обожала все эти занятия с цветочками-стебелёчками, а во-вторых, потому что я впервые удалялась от своих родных на такое расстояние. Мне было и страшно, и весело.

Мама очередной раз проверила мой рюкзак, зачем-то потрогала каждый кармашек куртки и засунула в один из них белоснежный, наглаженный носовой платок.

– Это зачем? Мам, ты мне в рюкзак же целый десяток уже положила. Я что – сопливая такая?

– Да ну тебя! Там еще, смотри, в термосе чай горячий. Вдруг замерзнешь в автобусе.

У всегда уверенной, насмешливой, сильной моей мамы был такой растерянный вид, что мне вдруг стало её жалко. Ей вообще досталось за последний месяц. Баба Аня вдруг пустилась во все тяжкие: похорошела, помолодела лет на двадцать, начала ходить в кино и в парк на танцы для тех кому

за... Её бравый дед, бывший шофер какого-то генерала, ухаживал ретиво и красиво, бабка вспомнила все свои забытые манеры светской львицы и давала жару. Мама почему-то никак не могла принять эту новую пору в бабушкиной жизни, и они часто ругались, плотно прикрыв дверь кухни. Психовали обе, сильно, по-настоящему. В конце концов, баба Аня собрала вещи и фыркнув напоследок, ушла к своему престарелому ковбою. Теперь мама с папой по очереди носились к ним, убирались, готовили и стирали, потому что у бабушки болели изуродованные ревматизмом руки, а дед, в принципе не знал, где бывают кастрюли и откуда вырастают котлеты.

\*\*\*

Наконец, автобус тронулся. Я заняла переднее сиденье, но в отражение водительской двери видела Сережкино лицо. Он о чем-то спорил с мерзкой Светкой и кадрился. Была у него такая манера – вдруг прижаться лбом к плечу собеседницы, толкаясь, как бычок, а потом отстраниться и заржать тонким, противным голосом. Я ненавидела эту привычку. Я ненавидела все его привычки, которые касались не меня.

Тряслись мы часа два. Я бездумно глядела в окно, мимо проносились подмосковные красоты, но мне было не до них. Чертово отражение не давало мне покоя. А Светка флиртвала вовсю. Она уже взгромоздилась к Серёжке на колени, утробно хихикала, как будто её щекотали, и от каждого её хихика в моей груди больно лопалось что-то, да так, что сле-



зы наворачивались на глаза.

Мне казалось, что эта дорога не кончится никогда. Я уже жалела, что не воспользовалась возможностью откосить от практики, а возможность эта была реальна, как все возможности, воплощаемые всеильной мамой. «Вот-вот», – думала я, злобно кусая губы, – «Не послушалась, получи! Теперь весь месяц будешь смотреть на это дерьмо. Она с него не слезет, это точно. Ни-ког-да!! Так и будет сидеть, как белка на ёлке».

«Мы, вот чего...», – резковатый Ленкин голосок был таким звонким, что саданул по ушам, и от неожиданности я вздрогнула, – «Приедем, темную ей сделаем, чтоб запомнила. Я такую умееююю, век помнить будет».

Я обернулась и, сдерживая слезы, посмотрела сквозь мутную пелену на Ленкино лисичье личико. Она всегда делала как-то так, что с меня шелухой слетала всякая гадость и мне снова хотелось жить. «Жалко ворота дёгтем нельзя...», – я мечтательно полистала в мыслях странички книг любимых классиков. Ленка классическую литературу не помнила, но поддержала:

«А чо, нельзя-то? Еще как можно... Эх, ворот вот тока нет... Слушай! Мы ей чемодан намажем. Где бы деготь взять?»

Мне вдруг стало так смешно, что я прыснула. Ленка обалдело посмотрела на меня, тоже прыснула и мы захохотали, как две дуры.

Автобус притормозил у небольшого светлого здания, похожего на старую школу. Водитель выгрузил нас на гладкую цементную площадку, выметенную до блеска, развернул машину и, притормозив на секунду, высунулся из окна и помахал рукой, весело присвистнув:

– Эй, студиизы! Давайте, про бабочек учите хорошо. А то страна без бабочек совсем рухнет. И не трах... много. Меру знайте.

Он бросил, конечно, более крепкое словцо, от которого у меня загорелись уши и кровь прилила к щекам.

«Вот сволочь...», – томная, как египетская пирамида, Надень, обладательница раскосых узких глаз неземной красоты и пухлого рта розовой гузкой, сплонула вслед взбрыкнувшему задними колесами транспорту, поднявшему легкий пыльный бурунчик, – «Сам ведь... с преподницей физвозников. И ничо так, про меру не знает!»

Мне все эти тайны двора были не интересны. А вот куда потащил свой рюкзак Сергей, захватив по дороге поганый Светкин чемоданище, было интересно очень. И я, подхватив Ленку, зазевавшуюся на статного армянина из соседней группы, потащила ее вверх по лестнице вслед за удаляющейся сладкой парочкой.

\*\*\*

Жизнь на биостанции закружила нас хороводом. Это было какое-то потустороннее существование, непривычное, здоровское, никак не вязавшееся с обычным студенческим мос-

ковским бытом. В Крюковском лесу расположилась база, странным образом, но очень естественно растворившая в себе очень разный люд. Там прекрасно себя чувствовали высоконаучные преподы, самым младшим из которых был коне-подобный ботаник Николая, кандидат наук и жуткая зануда, а старшим – профессор К\*, именитый зоолог, выпустивший не один десяток книг. И мы, безмозглые первокурсники, шарахающиеся, как напуганные коты от одного вида ванночек для препарирования лягушек, тоже были своими. Здесь все подчинялось совсем не тем, привычным, институтским законам. День начинался рано, в шесть, с завтрака в стеклянной, похожей на старинную, пронизанную солнцем оранжерею столовой. Там, внутри расставили длинные дощатые столы-полаты и узкие, качающиеся лавки. Заправлял всем Арсен, именно тот армянин, на которого положила глаз хитрая Ленка. Под руководством своей мамы, огромной, толстой, черной, но почему-то очень уютной при своей устрашающей внешности, и с помощью сестры Анели – тоже черной, но нежной и хрупкой, как фарфоровая статуэтка, они творили чудеса кулинарии. Такие, что постепенно я почувствовала, что моя задница неуклонно увеличивается, и скоро начнет мешать при ходьбе, откидывая бедное тулово назад.

После завтрака были занятия в лабораториях. Старинные, видевшие, наверное, Дарвина, наши лаборатории хранили немало тайн. Там происходили не занятия, там тво-

рились действия. А самым ненавистным для меня действием было обездвиживание лягушки. Воткнуть между позвонками бедняги, к тому времени еле дрыгавшей лапами и выпучившей от ужаса глаза, толстую иглу, пошебуршить острием в спинном мозге, а потом аккуратно перевести иголку в лягушачью башку, было для меня абсолютно невозможным, и я каждый раз просила помощи у ассистентки. Ленка, лихо справлявшаяся с лягушками, тоже помогала, но однажды прошипела мне смеющимся шепотком:

– Что ты, как дура, в самом деле. Иди, Серегу попроси. Он каждый раз от лягух увиливает, не знаю, как ему удается. А тут ты его припрешь. Посмотрим, как он вывернется. Джентльмен ведь, итить его.

Я посмотрела в Ленкины глазищи и подумала:

– А ведь правда. И причина вроде будет подойти. Не все ж я ему буду бабочек рисовать. Пусть и он...

Внутри сразу стало холодно, загорелись щеки, руки повлажнели так, что ванночка стала казаться скользкой и норвила выпрыгнуть на деревянный пол. Но я собрала себя в кучу, вытащила из банки самую толстую лягуху и поплелась в дальний угол лаборатории, где Сергей с Надень приклеивали сушеных мух на альбомный лист, встраивая их по ранжиру, при этом очень старательно высунув языки.

– Тебе чего, боль моя?

Сергей смотрел насмешливо, но ласково. Он не пилил сук, на котором сидит, потому что жизнь, она круглая, и кто

знает, каких бабочек, или не да бог птичек, блаженный профессор завтра заставит его рисовать в альбоме.

– Помоги лягушку обездвигнуть, а? Я вот совсем не могу, просто хоть плачь...

Я протянула ему ванночку с воском и лягушку, которая согрелась в моей руке и, покорившись своей участи, почти не дрыгалась.

– А что ты Маринку не попросишь, она же вон, смотри – у стола.

Сережка смотрел зло, он, похоже подозревал, что дело не в помощи. А манипулирования собой он не допускал, взбрыкивая, как козёл на привязи

–Маринка тебе десять лягушек обездвигит разом и не моргнет, что ты ко мне приперлась?

Маринка была наша отличница, целеустремленная, волевая девица. Все, к чему она не прикасалась, выполнялось идеально. Она и Серегу бы обездвигила на раз, не то, что какую-то там лягуху. Особенно перед сессией, на которых необходимо было получать только пятерки.

Я было убралась со своей затеей подальше, но сзади проскрипело, весело и задорно:

«Ну, ну, молодой человек, посмотрим, посмотрим. Покажите-ка нам класс... Мадемуазель, давайте-ка своё сокровище, пока вы его не удавили. А мы начнем».

Старый профессор стоял у стола и улыбался. В руках у него была здоровенная игла на толстой полированной дере-

вянной ручке, и он размахивал ею, как шпагой. У меня сердце провалилось еще ниже, я знала, что полуслепой преподаватель даже на занятиях не сразу попадает в цель и долго шерудит в лягушачей голове... Интересно, лягушки умеют кричать?

– Дай сюда! Еще придешь ко мне с таким, получишь поджопник, как курица дурная.

Сергей выхватил у меня страдалицу и одним точным движением скальпеля отсек ей башку.

Я видела, как он побледнел.

\*\*\*

Каждую пятницу нас отпускали домой с тем, чтобы в понедельник мы вернулись назад. Мне жутко не хотелось уезжать, можно было и остаться, но я скучала по маме.

– Что-же ты грязная такая-то? Так и вши пойдут и блохи, как у кошки подзаборной. У вас там что, мыться негде?

Мама с силой надраивала мне спину мочалкой, спина горела огнем, но она не унималась уже минут десять. В ванной плыли клубы пара, взбитая пена взлетала и оседала на краю раковины пышными хлопьями. Сказать ей, что в жутком кирпичном строении, служившем нам душевой, где установлены гремящие железные корыта вместо раковин, в которые стекает тонкими струйками пахнущая ржавчиной вода, было всегда полутемно из-за вечно сгоревшей лампочки, а мы, вместо нормального мытья, хохочем и визжим (особенно, когда ребята воют на разные голоса под окнами-бойницами),

я боялась. А вдруг не отпустит в понедельник назад.

После ванны мы сидели на кухне и пили чай с деревенским вареньем, которое нам еще исправно поставляла баба Таня, вместе со своими изящными, как произведения искусства пирожками. Я в лицах, взхлеб рассказывала маме о своих похождениях, у меня от задора потели толстые линзы в очках и глотались слова.

Мама слушала внимательно, буквально впитывая все мои истории и даже шевелила губами, как будто повторяла всё за мной.

«Ты совсем влюбилась, Ирк!» – неожиданно заключила она и потерла уголок полных губ наманикюренным пальцем, – «Я так тебе завидую... Вы у меня что-то с ума посходили – и мать и ты... только я...»

Она встала, подошла к плите и снова поставила чайник, громко шмякнув им по чугуну комфорки. Потом снова подошла, присела.

«Представляешь, сегодня какой-то странный тип в трамвае сумку оставил. Такой смешной, на воробья похож. Я за ним выскочила, догнала, сумку отдаю, а он так смотрит на меня, по-птичьи, головой качает. А потом говорит: "Прям поблагодарить то тебя нечем. На! Дочке отдашь. На счастье». И в руку сунул, теплое такое. Глянь»

Она кинула на стол пушистенький, голубой мячик, ворсистый, блестящий. Я взяла и сунула в карман халата. Мне почему-то очень захотелось его взять.

## Глава 14. Доктор

Солнце, оказывается, бывает черным... никогда не знала этого раньше, а вот теперь увидела своими глазами. Особенно, если смотреть на него через конверт, в который вложена твоя судьба, сконцентрированная в маленьком слове, написанном толстым карандашом на огрызке тетрадного листка. И оно, это твердое слово, похожее на забор из прямых и острых кольев, там, внутри, освещается черными лучами. И от этих лучей так режет глаза...

Я сидела прямо на земле, среди колючек и держала в руках письмо. Почему я уселась в колючие бодыли, я не помнила. Наверное, мир перевернулся вверх ногами, когда это «НЕТ» проорало из конверта и хлестнуло наотмашь прямо по лицу. Я с трудом удержалась на плоскости этого мира, распластавшись в траве. Я вцепилась в траву руками, иначе бы мир меня скинул. Почему я так приняла отказ? Чего я ждала, когда писала, как идиотка, своё признание Сергею, выворачивая наизнанку душу, впервые так выворачивая? Или не впервые? Рамен... или тогда было не так?

Все это мелькало в моей воспаленной голове, мысли были похожи на мелких навязчивых мух, крутящихся над мясом – бедным моим мозгом, почти взорвавшимся от обиды. В конверте было еще письмо от мамы, она вложила все разом и переслала мне, сюда, в Астрахань. Вся наша группа



жила «на помидорах» в Астрахани уже месяц, только Сергей остался в Москве, у него заболела мама. Я и написала ему в Москву. Идиотка!

Я бросила смятый тетрадный листок на обожженную солнцем до лысин землю, сжамкала в комочек и подожгла. Бумага вспыхнула разом и рассыпалась легким пеплом, вместе со страшным словом. Мне было почти все равно, у меня уже снова поселился в душе холодный червяк и лег, удобно развалившись внутри, обвив сердце парой-тройкой скользких витков. Поэтому, почти спокойно я вытащила мамино письмо.

Мамины каллиграфические букочки на плотной красивой бумаге (она писала только на такой) были немного суматошны, но успокаивали. Я, почти не читая, прижала прохладный лист к горевшей щеке, как в детстве, заболев, прижимала её руку, и легла, свернувшись калачиком. Наверное, я уснула, потому, что, когда мир снова возник вокруг меня, садилось солнце, плавясь в раскаленных рыжих астраханских степях. И я уже была другой в этом другом мире.

\*\*\*

Мама открыла дверь и ахнула, покачнувшись и схватившись за косяк. Зрелище было, похоже, жутким. Гремящий костями скелет, рыжий и всколоченный возник в коридоре и, посмотрев на неё ввалившимися глазами с черными подглазницами, сказал – «Привет, мам». Это чудище отсвечива-

ло в большом зеркале в прихожей, я тоже с удивлением посмотрела на него. А оно на меня...

– Ирк, знаешь, ты б отвлеклась...– мама стояла сзади и смотрела, как я пытаюсь затянуть взлохмаченную после мытья гриву в толстый хвостик, – Ну ведь столько ребят вокруг. Что вот – свет клином сошелся? Ну ведь страшный же, носатый татарин, дурной, чумной. Ржет все время, как ишак. Что ты вцепилась в него, как клещ?

– Мам! – у меня внутри больно резала натянутая струна, но я терпела.

– Мам! Я уже ничего не вцепилась. Все прошло. Я на картошку через две недели рвану с нашими. Не против?

– Рвани. Может найдешь кого... И знаешь, тебе худоба не идет. Ты – страшная!

Я вздрогнула, посмотрела на неё и, неожиданно для себя, обиделась. Красивая моя мама еще больше поправилась последнее время и стала уже грузной. Хотя её ловкость сильной, ладной женщины от этого не пропала, а наоборот, стала еще больше заметна, всё же, ей стало явно тяжелее. Но красота... Как она умудрялась сохранить красоту и изящество, даже аристократизм, несмотря на возраст и полноту? «Наверное, это особый талант», – думала я, с завистью. Я часто завидовала маме. Не знаю, это нормально?

Намотав на голову полотенце, я долго сидела перед зеркалом у себя в комнате и разглядывала свое лицо. Хоть и смазливое, глазастое, но простоватое, носатое. Рыжеватые густые

патлы и впалые щеки. Почему уж страшная-то? Вот придумала. А ещё мама...

\*\*\*

И снова автобус тащил нас по Подмоскovie. Тяжелые тучи висли и ложились на мокрые, снулые поля с неубранной картошкой и капустой. Я тупо пёрлась на уборку сельхозпродукции только с одной надеждой и ожиданием. Сергей! Паранойя моя была окончательной и диагноз сомнению не подлежал! Я была не побеждена этой любовью, я была распята! Все мамины слова далеким шелестом слетали с моих оглохших ушей, как октябрьские листья с кленов, я кивала головой, но лезла на острия этой бессмысленной страсти, закусив губы и зажмутив глаза. В автобусе было душно и сыро, даже запотели стекла, тонкие солнечные лучики резали мутный воздух салона и слепили глаза. И так, подслеповатая (носить очки с толстыми стеклами я не хотела, дабы не рушить свою потрясающую красоту), да еще сидящая лицом к солнцу, я не видела почти ничего. Только чья-то худая физиономия напротив мне была хорошо видна. Она представляла собой кучерявый лохматый подсолнух, на который почему-то надели очки.

– Маринк, кто это? Почему не знаю?

Мы уже подружились с Маринкой, нашей отличницей. Она оказалась ласковой, всё понимающей, немного правда занудной, но при этом развратной девахой, чем-то похо-

жей любопытного ушастого песика. У нее было симпатичное, нежное личико, пышные пепельные кучерявые волосы и неожиданно обалденная фигура. Когда она первый раз появилась в купальнике, я аж присела. Даже Ленка, потрянув рыжей копной, с завистью прикусила губу. Моё глубокое убеждение, что у отличниц не бывает такой пышной груди, точеных, крутых бедер и тонюсенькой стройной талии, рухнуло. Я даже стала думать, что следующую сессию, наверное, тоже сдам на пятерки. Раз так...

– Это дохтур, Ирк, он смотреть нас будет. С пристрастием...

Надень ответила мне вместо Маринки, плотоядно причмокнула и даже хрюкнула в сторону подсолнуха.

– А чо? Запала чоли?

– Идиотка, ты Надька. Всё об одном, ты свихнёшься на этой почве. Знаешь – слюни потекут... некрасиво...

Меня бесила эта овца, и вообще Кыси меня раздражали. Но они и не лезли к нам последнее время, наша сплоченная команда четырёх (была ещё Ольга – полная, холодноватая, умная блондинка, настоящая центровая москвичка) научилась давать отпор.

– Да лааадно. Сама небось слюни напустила.

Надька смотрела нагло и вызывающе, пухлые губы зло дрожали.

– Только он на тебя страхолюдину очкастую и смотреть не будет. Только и можешь на Ч..ова драть. А он-то

с Фенькой сладкое трескает, аж замаслился. Та уж еле ходит, в раскоряку.

Я завелась. У меня дрожали руки, я чувствовала, что побледнела, но потом щеки вспыхнули, загорелись, как обожженные. Ленка стиснула мне локоть сзади, но я пнула её пяткой в голень.

– Хочешь на спор? Этот доктур через неделю мой будет! Раньше! Через три дня!

– А давай! Проспоришь, залезешь на стол при Серёге и будешь орать ослицей. Три раза!

Я настолько разозлилась, что даже не спросила, что будет делать она, если проиграет. И мы так орали, что подсолнух развернулся в нашу сторону и пытался вслушаться в разговор. Его большие очки ярко блестели на осеннем солнышке и отбрасывали зайчики на модную кожаную куртку.

\*\*\*

– Маринк, горло болит жутко. И температура. Я не пойду сегодня в поле, ты там скажи преподу.

Маринка хитро посмотрела на меня и хихикнула.

– Я тоже не пойду. Тебе сиделка нужна, да доктора... кто позовёт, блин. А?

Ленка посмотрела на нас исподлобья, хмыкнула, но не осталась. И причиной, похоже, был знойный и стройный комбайнер, у которого на краешке пухлой губы всё время этак стильно висела наполовину сжёванная сигарета,

невиданного нами дизайна. Только потом, уже позже, я увидела такие в ларьке. Астра!

...

Когда Маринка, тщательно накрасив тонкие губки розовой помадой, необыкновенно её красивой, ушла, игриво вертанувшись перед дверью, я судорожно стала искать необходимый ракурс, делающий неизлечимо больную красавицу ещё привлекательней. Практически одновременно я взлохматила и так косматые волосы, выдернула из рюкзака моднейший лифчик анжелику и выходные кружевные прозрачные трусы. Всё это напялив, сверху натянула Ленкин сексуальный свитер крупной вязки, постоянно сползающий с одного плеча, рухнула на подушку и томно прикрыла глаза.

В дверь нерешительно постучали.

– Не стесняйтесь, доктор. Проходите.

Маринка с трудом сдерживая смех, втащила за руку смущающийся подсолнух. Правда сегодня он причесал свои кудри, насколько это было возможно, зеленоватая футболка, выглядывающая из-под кожаной куртки подчеркивала цвет глаз. Я разглядела его глаза, потому что он резко сдернул запотевшие очки и неловко протирал стекла чистейшим, наглаженным платком. Глаза были близоруко-беспомощными и смешными. И желтовато-зелёными, как у кота.

– Марина, выйдите, пожалуйста в коридор. Мне надо осмотреть больную.

Доктор был серьёзен и неприступен, он надувал губы,

и так пухлые. Смуглые щеки порозовели, идеально подстриженные усики подрагивали.

– Ох, и не фигу себе. Никуда я не пойду.

Маринка решительно села на свою кровать, подобрала стройные ножки и уставилась на эскулапа.

– Кстати, Ир, его зовут Саша.

– Александр, очень приятно.

От доктора пахло хорошей туалетной водой и, почему-то нафталином. Он заглянул мне в горло, и потянул за ворот свитера.

– Снимите это, пожалуйста.

И когда я, соблазнительно изогнувшись, стянула свитер, у него опять запотели очки...

## Глава 15. Пузо

– И что? Ты даже телефон его не знаешь, что ли?

Мама смотрела на меня с удивлением, её ухоженные брови взметнулись и выстроились в две тоненькие линии, как всегда, когда она чего-то не понимала. Выслушав мой сбивчивый рассказ о новом романе, она ждала чего-то еще, видимо подспудно надеясь, что, наконец, её непутёвая дочь обринулась и нашла свою судьбу. Но не тут-то было!

Я, без сомнения закрутила головокружительный роман с доктором. И даже, там, где был холодный червяк, чуть помягчело, мне стало легче дышать. Саша был нежен и страстен, в этом смешном, лохматом маменькином сынке было что-то такое устойчивое что ли, честное, чистое. Но занудлив он был до жути, абсолютно не способен ни на какие выходы, которые я обожала, и мне было с ним до одури скучно. И когда, вдруг, он исчез в одно утро, я не особенно заморочилась. Выслушала на завтраке известие о том, что с жуткой дизентерией врача отвезли ночью на скорой помощи в больницу, часок погрустила и к вечеру забыла. Тем более что вечером на дискотеке Сергей неожиданно пригласил меня танцевать и тихонько шептал на ухо, прижимая к сильной, подкаченной груди, что-то такое, от чего замирало сердце и падало вниз, к пяткам. Сладко и обморочно...



– На! Тебе твой дохтур просил передать! Я курить ночью вышла, его как раз грузили.

Одна из Кысь, Светка – высокая, полноватая деваха с белокурыми волнистыми волосами ниже толстой попы, стояла на крыльце столовки и смолила «Мадрас»

– Матрасу хочешь? На, у меня еще пачка есть, все равно завтра валим. Держи записку-то, не выпендривайся.

Я опасливо посмотрела на благодетельницу, но сигарету и записку взяла. На маленьком, почему-то розовом клочке, ровненько и красиво были выписаны цифры. «Телефон! Гы-гы. Ну, пусть», – смутно мелькнуло в голове, чуть потеснив светлый Сергеев образ. Сунув бумажку в карман тесных джинсов, я, было, залихватски закурила. Но из сверкающей дискотечными лампочками темноты вышел Сергей, выхватил у меня изо рта сигарету и затоптал её, вдавив в холодную осеннюю землю.

– Не кури. Не идёт тебе.

И прижался носом к носу, по своей дурацкой привычке, и заглянул в глаза близко-близко, и упала я в серый омут, безвозвратно и бесконечно...

\*\*\*

Телефон? Я, наконец, поняла, о чем спрашивает мама. И вправду, есть же телефон... Позвонить Саше, встретится и забыть, забыть, забыть, наконец, худощавое лицо, впалые щеки, нервный нос с горбинкой. И эти серые омуты...

– Сейчас, мам.

Я вытряхнула содержимое замызганной сумки прямо на пол, вывернула джинсы, ощупала карманы. Есть! Девичья розовая бумажка, аккуратные букочки, запах нафталина.

– Звони! Ирк, хоть попробуй. Давай!

Длинные гудки оборвались сразу, я что-то промямлила и услышала, как Сашин голос враз стал хриплым, вроде он поперхнулся. И потом диктовала адрес и записывала что-то на подвернувшейся газете красной учительской ручкой, которую мама сунула мне в руки, одновременно ляпнув подзатыльник, когда я хотела эту ручку оттолкнуть. И чувствовала, как тяжёлый шар покатился вниз, увлекая за собой и меня и мою юность, и мою незадавшуюся любовь.

\*\*\*

– Красивая ты, всё-таки, Ириш. Чуть поправилась – кукла. Прямо как я.

Мама стояла сзади и через моё плечо заглядывала в зеркало. Её большое тело казалось намного красивее, чем моё – худое и затянутое в батник новейшего фасона «между ногами» и дорогие фирменные джинсы. А уж лицо...

Я привычно вздохнула и поправила дурацкую кудрю, вечно торчащую вперед, рыжеватую и всколоченную. Зато у меня глаза!

– Звонят. Давай, иди, открывай. И прилично себя веди, будь человеком.

В темной прихожей не было видно не зги, но я, почему-то побоялась включить свет. Как будто от этой темноты зависело что-то важное, чего я никак не могла ухватить. Возможность сбежать, может. Раствориться в тени разъявленного стенного шкафа, уставленного мамиными заготовками на зиму, ну, или превратиться в моль и спрятаться за банку с компотом... Но я не успела сделать ничего путного, потому что вместе с нерешительно приоткрытой дверью из коридора ворвался яркий пучок света и в нём, с радостной улыбкой до ушей стоял мой солнечный доктор с букетом разноцветных лохматых астр. Свет тоже пах астрами, докторской туалетной водой, нафталином и, почему-то, яблоками. И в эту минуту, чернота в моей душе немного растаяла, стала серее, прозрачнее. Мне вдруг захотелось улыбнуться в ответ. ...Ну, а мешок, который он притащил с собой, мама радостно уволокла на балкон. У нас никогда не было столько розовощеких, упругих, звонких яблок, которые раскатились по всему полу и заполнили ароматом всю квартиру. Светлым, веселым, осенним ароматом...

\*\*\*

– Не, ну ты даешь вообще. Ты же замуж собралась, а? А фамилию не спросила? А вдруг ты Пупуськиной станешь? Или Жопкиной? А как вы заявление подавали? Ты хоть паспорт смотрела? И не жри столько, а то станешь жирной невестой. Платье лопнет.

Мы с мамой сидели на кухне и занимались любимым делом – гоняли чай. В новой, открывшейся после ремонта булочной, появился прилавок с гордым названием «Восточные сладости», и, конечно, сластена-мама набрала всего понемногу, забив авоську хрустящими коричневыми пакетиками. Плотно улыбаясь, она вывалила это богатство на стол, смешав запахи ванили, корицы и своих духов в сладостный ворох, поднимающий настроение и щекочущий в носу.

При словах «жирная невеста», я вздрогнула, но всё-таки быстро запихнула в рот здоровенный кусок косхалвы, быстро по хомячьи прожевала и его, нацелясь ещё и на обалденное печенье-ромбик, густо посыпанное корицей. «Растолстеть не успею за оставшихся пару недель, а потом все равно живот начнет переть, куда денусь. Допрыгалась», – мстительно подумала я, засунув в рот, следом за печеньем, розовато-желтый кусок шербета, – «А то фиг бы я замуж за него пошла, не уговорил бы».

Мама не знала истинной причины моего согласия. Зачем было её расстраивать, пусть думает, что это, наконец, то, чего я ждала всю жизнь. Ну а благородному доктору я, конечно, сообщила причину. Он сначала обалдел, а потом впал в счастливый ступор. Результатом было заявление. В загс.

– Давай книжку записную, сейчас мы всё узнаем.

Я уже знала, что Сашин телефон аккуратно записан в мамин толстенный талмуд, бисерно испещренный телефонами и телефончиками. С привычной скоростью пролистав стра-

нички, она набрала номер.

– Здравствуйте. Вас беспокоят с телефонной станции. Мы проверяем номера наших абонентов, сверяем списки. Подскажите, пожалуйста, на чью фамилию зарегистрирован телефон? И, тщательно выписав буквы под цифрами, сунула книжку мне.

– Смотри! Это твоя фамилия будущая. Ничего так. Красивая...

\*\*\*

Без очков я всё видела, как в тумане. Виски стягивало обручем, потому что парикмахерша-зверюга всадила в мою башку килограмм шпилек и намертво приклеила их лаком к коже. Как сомнамбула я доплелась до стола, по дороге споткнувшись об выступающую паркетину, и загремела бы, но твердая рука моего будущего мужа удержала меня на плаву. Тетка, скороговоркой прочитавшая необходимые слова тыкнула указкой в красивую книжку, но я не увидела строчек. Поэтому, наугад поставила свою подпись где-то посередине. Сойдет и так.

...Мама плакала. Я своими глазами увидела близко-близко её слёзы, когда она наклонилась меня поцеловать. Первый раз увидела, что мама плачет. И... последний.

\*\*\*

– Мам, ну скажи, неужели тебе не страшно работать с та-

кими детьми? Ну, или хотя бы скажем так – не неприятно?

Я сидела, поджав ноги на огромной родительской кровати, и старалась не касаться той вмятины на одеяле, где сидел этот мальчик. Он только что ушел, вмятина была ещё теплой, но дело было не в этом. У него была слишком большая голова, слишком странный, отстраненный взгляд и слишком медленные движения. Он был похож на инопланетянина и, одновременно, на мультяшного персонажа. Но особенно дико было смотреть, как зажав в худой, крошечной ручке карандаш он с треском решает сложные примеры, которые даже я бы с налёта не решила.

– Видишь ли, Ирк... Детей нет противных, не бывает. Бывают дети, которые не укладываются в стандарт, тупой и жестокий. У парнишки мозги, как у взрослого, и душа. А знаешь почему? Потому что он с рождения борется с миром. Он пытается доказать миру, что он человек. А мир его за зверушку уродливую держит. Так кто-то должен ему помочь доказать. Я помогу.

– И что, в класс к себе его возьмешь? Ржать же будут.

– Не будут. Дети – неплохой народ, если правильно им управлять. Хотя, ты права, нет народа более жестокого.

Она уже улыбалась, и взгляд её все время скатывался на моё круглое пузо. Ну, просто не могла она оторваться от него. И мне казалось, что она что-то видит там, сквозь меня. И с тем, кто там – она уже нашла свой волшебный контакт.

## Глава 16. Глазюки

Дверь, обшарпанная до пролысин на мутной желтоватой краске, распахнулась, раззявив беззубый рот, и уже, в самом конце размашистой амплитуды, визгливо скрипнула. Я отшатнулась, потому что оттуда вырвался и ударил меня по ноздрям душный, сладковатый запах, причем не вонь, а именно запах, многослойный как пирог с начинкой из боли, страха, надежды и еще чего-то странно-радостного. Всё это разбавлялось мирными ароматами водянистого пюре и чая из веников – такой всегда давали в поездах и в больницах. Я не должна была попасть сюда именно через эту дверь. Всемогущая мама уже всё устроила, меня должны были через пару недель торжественно препроводить, и, прямо через кабинет директора, отправить в блатную палату для особых рожениц. Но та, внутри меня, не хотела ждать. Она тоже, наверное, была такой, как мы с мамой... «Неудобой»... Рыжей...

Да ещё меня угораздило бабахнуться сюда в выходной... Никого из посвященных врачей, конечно, не оказалось в приёмной, и только запись в лохматой толстой книге с моей новой фамилией, определила нашу с Неудобой судьбу. Дверь пропустила меня и захлопнулась, прямо перед носом растерявшегося мужа. Мы с ним остались по разную сторону баррикад.

– Бриться и клизму! И быстро давай, что ты выпучилась на меня? Носит вас по ночам.

Здоровенная тетка в желтоватом, но накрахмаленном халате резко дернула занавеску, болтающуюся на трех полусло-манных кольцах. Перед моим изумленным взором оказался унитаз. Пока я размышляла, зачем мне бриться, вроде как щетина на морде не растет пока, тетка тычком молодецкого кулака подвинула меня к кушетке. И тут я поняла значение этого слова. Щеки горели от стыда, но оказалось, что это только начало. Вломив мне здоровенную клизму из сооруже-ния, похожего на подвешенную грелку, милый доктор усади-ла меня на унитаз. При этом она совершенно не собиралась задерживать занавеску и я, как неудавшаяся актриса в роли английской королевы, восседала перед зрителями и стати-стами. Моей публикой были санитары и еще какие-то люди в спецовках, звякающие инструментами в протекающей ра-ковине. Честно сказать, им было глубоко наплевать на это зрелище, видно они такое наблюдали не раз. Но мне было не наплевать. От страха и стыда у меня прекратились схват-ки, но разболелось где-то в районе сердца, и почти лопалась голова...

– Да ладно тебе, что ты, как целка. Наср... и растереть. Мало ли дерьма в жизни. От всего не заплачешься. Забудь!

Я потихоньку открыла глаза, которые зажмурила ещё там, на унитазе. Напротив, на соседней кровати, прямо к потол-ку возвышался живот, огромный как вселенная. А где-то



под ним, далеко внизу разметались по подушке смоляные локоны, густые и блестящие, вроде их намастили. Смуглая, с горячими, черными глазюками, крошечная девочка лежала, придавленная огромным весом и была похожа на улитку, перевернутую по чьей-то злой фантазии. Тоненькую, вытянутую бессильно ручонку почти насквозь проткнули толстой иглой, сухие яркие губы были искусаны.

Я с ужасом посмотрела ей в глаза. Там плескалась боль и злость, даже ненависть, замешанные на весёлом каком-то отчаянье.

– А почему у тебя игла? Ты болеешь?

– Хрен знает. Чуть не померла дома, говорят тройня там. У меня и мать двойню рожала, а я вишь – тройню. Мать померла родами, я тоже помру. Так и ладно, отмучаюсь. Муж задолбал, хоть сдохну, отдохну.

У девчонки вдруг перекосилось лицо, страшно, уродливо. Черные глаза выкатились и наполнились слезами. Тело её выгнулось дугой, она засучила ногами, но не произнесла ни звука. Я вдруг поняла, что мне так знакомо в ней. Цвет кожи, разрез глаз, пурпурный оттенок губ. Вернее даже не это – от неё исходил ветер свободы. Через грязь и боль я чувствовала этот ничем не замутненный степной аромат – степи, костра, звезд и солнца, замешанный на полыни. Я вскочила.

– Не гоношись. Отпустило.

Она что-то сказала резко и гортанно, и я вспомнила эту мелодию родных степей, которую ничто не смогло вытравить

из памяти – ни звуки города, ни удобство и радости городской жизни. Я в первый раз почувствовала, поняла эти слова, которые слышала от бабы Ани и не предавала им значения – «Кровь зовёт»...

Тот жуткий скандал, который я, в общем, неконфликтная маменькина дочка, учинила на сестринском посту, на удивление возымел действие. Откуда ни возьмись, чертиком из табакерки, появился круглый, как шар и черный, как жук волосатый доктор. Вокруг цыганочки засуетились, с треском притащили каталку, необъятный живот опутали проводами. Что-то кололи, чем-то прыскали. Через полчаса кровать опустела, а ещё через час, бабка-санитарка проворчала мне почти на ухо:

– Ну что, скандалистка? Опросталась подружка твоя тройней. Ребятки все, смугленькие, хорошие. Саму в ренемацию повезли, но живая будет, я сразу отходящих-то вижу. Эта вытянет, порода такая. Хорошо, ты разоралась, а то она так и померла бы тут. Ты тоже из них, чтоль. Не похожа вроде.

– Нет, бабусь. Я не из них. А жаль...

\*\*\*

Огромные, круглые синие глаза смотрели мне прямо в лицо, не мигая. «Почему синие-то?» – подумала я, физически ощущая, как тяжелые мысли-глыбы ворочаются в моей воспаленной голове и давят гладкими краями на мозг, превращая его в лепёшку. Болело все, казалось, каждую косточку

размолотили и вставили обратно. Смутно вспомнились – худая врачиха с тонкими и цепкими пальцами, которая совала в меня руку, чуть не по локоть, и орала при этом звонко и задорно: " Тужься, корова. Тужься. Не спать!», фельдшерица, или кто там она была, с жесткими прямыми волосами, у которых точка роста была где-то у бровей, и лба поэтому совершенно не имелось, сшивающая меня тупой иглой так, что искры летели из глаз, горячие, как из костра. И ледящий холод в коридоре, такой, что замораживал все внутренности, жуткий настолько, что стучали зубы и вдоль позвоночника разливались морозные ручейки. Кто придумал, что надо часа полтора пролежать на каталке после родов, едва накрытой тоненькой простынкой? Что бы его на том свете простынкой накрыли, сволочь!

Мысли потихоньку концентрировались, становились живее, боль стала растворяться, принося облегчение измученным мышцам, и картинка прояснилась. Я лежала в крохотной палате, в которой еле помещалась кровать, тумбочка, пеленальный столик и плетеная корзинка на ножках. И из корзинки торчали синие глазюки. Теперь я уже разглядела что глазки прикреплялись к красной, крошечной мордочке и там, кроме них еще был ротик-вишенка и носик-пуговка. Пуговка недовольно морщилась, ротик кривился, но молчал.

Я вскочила, откинув одеяло, но тут открылась дверь и в комнату вплыла огромная белая глыба. У глыбы был мно-

гослодный живот, короткие трехэтажные ноги и крохотная голова в белой пилотке.

– Сидеть! Не вставать, пока не скажут!

Тетка рявкнула, но получилось у неё не зло, а как-то добродушно, ласково. Так ругала меня баба Пелагея за тонкие колготки и сапоги на шпильках среди зимы.

– Сиську давай. Пора.

Она вытащила глазастое создание из корзинки и ловким движением сунула его к моей груди. Создание вздохнуло и присосалось...

\*\*\*

Щурясь от яркого солнышка, я нежилась на освещенном крылечке роддома, наслаждаясь спокойствием, впав почти в нирвану после недели бессонных ночей и суматошных дней, проведенных с дочкой на руках. «Экспериментаторы, етить их», – эта фраза худящей стриженной блондинки, обитательницы соседней клетушки-палаты, безуспешно пытающейся запихнуть огромного, толстощекого, запеленатого в виде гусеницы бутуза на весы, стоящие на уровне ее груди, точно отражала сущность нашего продвинутого роддома «Мать-дитя». Тут мы все черпнули полным ушатом, особенно «первородящие». Пролежав в одной палате с вопящими младенцами, ничего не умеющие, ни накормить, не спеленать, мы выползли оттуда на трясущихся ногах. Но зато сразу опытные. Мамки.

– Господи! Боже милостливый! Матерь святая! Личи-

ко-то! С апельсинчик! И время неправильно написали. Не могла она в двенадцать десять родиться! В двенадцать она родилась. Мы все – в двенадцать!

Вздрогнув от непривычных для мамы слов, я обернулась. Она дрожащими руками укутывала драгоценный сверток в еще одно одеяльце и всматривалась близоруко в личико внучки. Полные губы что-то шептали, молилась она что ли, улыбка, нежная, счастливая, так и рвалась из её глаз, освещающая лицо и без того светлое. «Мадонна», – подумала я. Молодая, красивая, счастливая. Не то что я...

Посмотрев на мужа, который стоял бледнее мела и нерешительно тянул руки к свертку, весь поддавшись вперед ху-досочным телом, я одернула свои мысли.

– Дура. Счастье-то вот оно. А ты все ищешь его там! Где! Его! Нет!

\*\*\*

Серый шар катился вдоль сверкающей плоскости бело-снежного стола, оставляя свинцовый след. Такой след оставляет подстреленная птица, прочертив снег краешком крыла и взлетев перед последним вздохом. Игра была в самом разгаре. Мастер Мер запускал шар по столу, а кто-то черный, прозрачный, похожий на просвечивающийся плащ с капюшоном, ловил его маленьким сачком и отфутболивал за Край. Сегодня игра называлась «На кого Он пошлёт». Мастер устал, и ему было всё равно. Наоборот, ему нравилось, что Он посылал куда попало. А пусть...

И только тот, толстый, нахохлившийся, похожий на воробья, кто был всегда неправ, успевал поймать кое-какие шары и сунуть в карман. И это значило – кто-то из них, глупых, внизу, сегодня был спасён...

## Глава 17. Уход Анны

Звонок выдернул меня из зыбкого полусна, резко и неожиданно. Мне показалось, что даже дёрнулась голова, вроде меня толкнули в спину. Последний год спать мне почти не удавалась, глазастая Неудоба, которую называли предсказуемо и просто – Машкой, по ночам орала не переставая. Замолкала дочка только в те часы, когда я, взгромоздив ее на пирамиду из подушек, читала вслух лекции, готовясь к ГОСам. Машка уже много знала по биологии, философии и научному коммунизму, но умнее её это явно не делало, и совершенно не мешало громко и противно верещать. Это вызывало у меня недоумение, стыдное раздражение и желание вставить кляп в круглый орущий мячик-рот.

Звонила мама, и голос её был тревожным. Хотя слова она и произносила чётко, как всегда, но срывалась в хрип, и я слышала, что она курит, быстро и нервно. Эти слова заставили меня окончательно проснуться и моментально натянуть первое, что попало под руку. Саша тоже вскочил, каким-то десятым чувством всё понял и начал вызывать такси, яростно накручивая диск телефонного аппарата, потом плюнул, бросил мне – «Оденься теплее, там дождь», и выскочил на улицу. Такси он поймал быстро, и пока мы неслись по кольцевой в потоках грязной городской воды, я, глядя в окно на размытые силуэты пролетающих домов, пыталась

собрать мамины слова в кучу:

– Наркоманы, дед, дрель. Действо какое-то нереальное... как могло вообще такое случиться... И что делать -то?

Саша молчал и крепко сжимал мне руку. Его пальцы были сухими и плотными, как сучки старого дерева, и меня всё время посещала посторонняя мысль, что ему, наверное, неприятно чувствовать мою потную ладонь.

\*\*\*

Дверь в квартиру была открыта нараспашку, толпились люди в форме, пахло кровью и корвалолом. Мы приехали уже к шапочному разбору, всё что могло случиться, уже случилось. На полу отливала металлическим блеском подсыхающая лужица крови, лохматая деваха в накинутом на голое тело бабушкином пледе сидела за кухонным столом в плотной компании милиционеров и стучала зубами. Баба Аня и дед сидели рядышком на тахте, одинаково сложив руки на коленях и смотрели куда-то вдаль. Причем взгляд у деда был странным, губы дрожали, один уголок рта слегка тянуло вниз, отчего казалось, что он криво усмехается. На полу валялась дрель. Мама стояла на балконе, почти закрыв спиной свет, но по резким движениям руки было понятно, что она всё ещё смолит. Папа что-то пояснял милиционерам, всё время потирая вспотевшую лысину, и шея его была влажной и бордовой. Короче – мизансцена из сериала «Следствие ведут знатоки». Но, несмотря на плачевное состояние акте-



ров, я успокоилась. Все живы, здоровы, слава Богу. Остальное образуется.

– Мам! Что тут, расскажи хоть по-человечески.

Я втиснулась между отштукатуренной стенкой балкона и маминым боком, вытерев всю известку и ободрав о неровный край плечо.

– ..., на ..., твою... а старый ведь, герой хренов!

Первую часть маминой фразы я выслушала, втянув голову, как черепаха, потому что такие слова раньше она при мне не произносила. Обернулись даже милиционеры, а один из них, самый разбитной, с казацким чубом, свисающим из-под сдвинутой назад фуражки, одобритительно присвистнул. Дальше мама перешла на обычный язык и рассказала примерно такую историю.

– Что его, дурня старого, полпервого попёрло мусор выносить, не знаю. Мы ведь с отцом всё убрали вечером, настирали и намыли, обед приготовили. Где он этот мусор набрал, ... чёрт его знает, но пижамку надел и пошел. Мать уже лежала, дремала, она ведь, как курица, в девять ложится. А на лестничной клетке эти гонд... его и встретили!

Милиционеры отвлеклись от девицы и, развернувшись, как подсолнухи к солнцу, тоже внимательно слушали. В глазах чубатого был такой восторг и поклонение, что папа стал заинтересованно в него всматриваться.

– Кто встретил-то, мам?

– Да хрен этот обколотый с козой его. Вон сидит, видишь,

лахудра.

Маме явно хотелось говорить другие слова, но она сдерживалась. Из её рассказа я поняла, что два наркомана, парень и девка, совершенно голые, ворвались в квартиру, вслед за неожиданно решившим навести чистоту дедом, и начали свой дьявольский танец. Проснулась бабушка, начала кричать. Девка сдернула с неё одеяло и, размахивая им, как то-реадор, пошла на своего любовника. Парень схватил со стенки у деда кавказский рог и начал изображать быка, но это им быстро надоело. Тогда сладкая парочка взялась за ящики комода, увлеченно выбрасывая содержимое в поисках чего-то, может дозы.

– И тогда, этот, покрытый мхом вояка, прокрался в чулан, вытащил дрель и отоварил мужика по башке!

Мама ещё нервничала, но уже улыбка стала пробиваться, осветив лицо, как после грозы солнышко выглядывает из-за тучи.

– Правда, промазал, задел ухо и сломал ключицу. Из уха кровищи было, видишь, на полу. Мать сознание потеряла. Девка визжала, как поросёнок, соседи милицию вызвали. В общем, жуть!

Мама шарила наманикюренными пальчиками в пустой пачке, я отобрала пачку и смяла.

– Слушай, мам. Надо бы ещё скорую вызвать. Что-то они так сидят смирно, как исусики и молчат, а? И дед что-то чудной какой. Слюна вон...

Саша быстро подошел к деду, оттянул веко, пощелкал пальцами.

– Быстро скорую, бегом!

Дед, как будто понял, что скорую вызывают ему, и стал медленно заваливаться набок.

\*\*\*

Баба Аня лежала, отвернувшись лицом к стене, и тело её казалось твердым, неподвижным. Уже неделю она жила у нас после смерти деда. Улыбчивый, уютный колобок, которым она была последние годы превратился в холодную, хмурю старуху. Мама злилась, она так и не приняла бабушкину последнюю любовь, что поделать – дочери эгоистичны. А вот папа... Такой нежности, желания помочь и вытянуть, я от него не ожидала. Каждый вечер он насильно усаживал бабушку за вечерний чай, что-то рассказывал, теребил, тормошил. Приносил сладости, рассказывал новости, уговаривал спечь пирожки. И, чуть усмехаясь, весело упаковывал в портфель огромные тяжелые лапти со странной начинкой, которые бабушка ему варганила, толкаясь на кухне, мешая раздражающейся маме, и ежеминутно вытирая крохотным кулачком слезу, мешающую смотреть.

И жизнь взяла свое, месяца через три я застучала бабу Аню, внимательно рассматривающей свою кружевную накидушку. Серые волосы (она разом стала седой) были тщательно причесаны, стянуты в аккуратный узел, губы подкраше-

ны. Правда уже не той термоядерной помадой, а нежной, бежево-розовой, которую, похоже, она купила сама.

– Бабань! Ты куда настрополилась, красивая такая?

– Аааа, дывысь. Пиду пройтись.

Я удивилась. Бабка хорошо говорила по малороссийски, быстро чесала по телефону с родственниками, но при разговоре со мной моментально переключалась на правильнейший русский, вроде щелкали тумблером. И никогда не ошибалась. А тут...

Приглядевшись повнимательнее, я бы, конечно, заметила странность. Слишком блестящие глаза, слегка дрожащие руки. Я бы тогда поняла, что она уже не вернется на своих ногах. Но я внимательно на бабушку не смотрела. Мало кто в двадцать пять внимательно смотрит на бабушек. ...Плохо это, не смотреть...

\*\*\*

Больница пахла хлоркой. Пахла навязчиво и остро, в палате на двоих баба Аня лежала одна. За три года, которые прошли с того жуткого случая, она практически не вставала. «Застарелая гематома, удар по голове, может быть всякое», – врачи разводили руками. И действительно, что тут сделаешь, если в той, старой бабусиной жизни бывало всякое. Её не повернёшь вспять, жизнь нашу, можно только идти вперёд.

Мама измоталась за эти годы, постарев вдруг на десять лет. Из неё исчезла озорная девчонка, взгляд зеленых глаз

стал тяжелым и усталым, пухлые губы часто сжимались в твердую линию, но сжав зубы, она не жаловалась. Ну, а я жила своей жизнью, металась между дочкой и работой. Да ещё упивалась не свершившейся любовью, всё никак не могла успокоиться, всё искала. И только, когда бабушке сделали операцию, раскроив полчерепа, остановилась. Снизошла...

\*\*\*

– Я не могу больше, Вов! Понимаешь, я не могу!

Голос мамы звучал резко и напряженно, он был, как струна и бил по ушам.

– Вонь эта! Г... -но везде! Не справляюсь же, ты что, не видишь?

Я спряталась у бабушки в комнате и с тупым отчаяньем смотрела на её неподвижное лицо. Запах действительно стоял жуткий, бабку заживо съедали пролежни, несмотря на постоянное присутствие медсестры и каждодневную, многократную обработку. Её белое полное тело было продырявлено страшно, черные ямы уходили под кожу, но она не чувствовала боли. Она всё время смотрела в один и тот же угол, стянув черные брови трагической скобкой и этот четкий рисунок беды был страшен на белоснежном плоском лице.

– Президент. Президент. Президент.

Почему-то это слово она повторяла без конца, иногда чуть поднимала руку и шевелила пальцами.

Мама вздрагивала всем телом и шепотом ругалась...

\*\*\*

Умерла баба Аня ночью. Мама сказала, что она так и не отвела глаз от своего угла...

\*\*\*

Тот, что похож на воробья, наклонился над краем, свесив вниз большую круглую голову, так что пушистый капюшон вдруг сполз и накрыл бы лицо, если бы не помешали оттопыренные прозрачные уши. Он грустно смотрел вниз на процессию, ползшую по старому кладбищу и прямые фигуры двух похожих друг на друга женщин. Одна была большой и полной, вторая – поменьше, с рыжеватыми взлохмаченными волосами. Женщины грустно брели последними, похороны уже закончились, начинался дождь. А Воробей держал корзинку с шарами, разными, разноцветными, яркими, но доставать оттуда шарик не спешил. Потом вздохнул и вытащил из кармана серый, тяжелый, как камень шар. Подумал еще немного, размахнулся и швырнул, стараясь попасть в лохматую. Но та, что покрупнее, вдруг, в последний момент, загородила маленькую своим телом и шар, раздувшись, как мыльный пузырь, опустился на неё и лопнул.

– Ты не прав! А еще куратор! Судишь, то, чего не понимаешь! Судишь то, что трудно судить даже Ему! Неразумных судишь, как разумных. Хотя...

Мастер Мер схватил за шкурку съезжившегося куратора и оттащил от края.

## Глава 18. Камасутра

Запах сухих трав, легкий и пряный будоражил голову, будил воспоминания, горячил кровь. У мамы на даче, которую она неожиданно для нас купила в тех полузабытых было, степных краях нашего детства, я всегда чувствовала что-то, единственно правильное, настоящее, истинное. От этого воспоминания мне становилось и сладко, и больно, больно до щипучей рези в глазах. Но я не понимала, что это... В моей, ставшей за последние годы чёткой, уже совсем взрослой голове, всё было отлажено, разложено по полочкам, протерто тряпочкой до блеска и расставлено по ранжиру. Дочь, муж, семья, школа, работа, аспирантура... Да ещё, к несчастью открывшийся дочкин музыкальный талант! Он не давал нам ни секунды покоя, всё свободное время мы пилили на фортепиано, я – с трудом подавляя зевоту и усталость, дочь – отвращение.

Безумств я больше не совершала. Вернее, была пара-тройка, но это было так... не безумства, скорее мечты – вырваться, взлететь, сбежать, попытки глупые и безуспешные. Встречи с Сергеем на институтских посиделках, романчик с аспирантским доцентом, еще что-то, темное, мутное. Ощущения от этого всего были похожи на небольшие ранку, на случайные порезы слишком острым ножом, которые тя-

жело и долго затягивались и оставляли в душе только грязь и досаду. И стыд. Перед мамой, которая смотрела мне прямо в душу своими зеленеющими, не потерявшими с возрастом цвет глазами, и взгляд её был похож на рентген... Она молчала... Она все понимала... Она сама была такой...

То, что у меня мамина, мятежная душа я чувствовала. Но особенно понятно мне стало это лишь однажды. Дочка тогда еще была маленькой, года два, не больше. Была весна в том её начале, когда еще только ощущение, синий свет и фиолетовые тени на волглом снегу, запах свежести и воды выдают её скрытное присутствие. Легкое брожение в мозгах, странное чувство свободы мучает и манит, кажется, можно легко сбросить с плеч серое покрывало обыденности и вырваться в потрясающе яркий мир.

Мама позвонила из автомата, голос её был странным, он дрожал и срывался, я даже не сразу узнала её. Она попросила выйти на улицу и я, не спрашивая зачем, быстро нахлобучила на ребенка нехитрые одежонки, накинула пальто, схватила санки, чтобы побыстрее тащить своего карапуза, и помчалась на улицу. Рядом с домом был каскад прудов, когда-то за территорией ухаживали, теперь же, среди заброшенных аллей, залитых предвесенней грязью, лишь кое-где остались не доломанные лавки.

Я издалека увидела её. Больше никто не мог иметь такую гордо посаженную, красивую голову, такую королевскую осанку большого тела. Она сидела на ближайшей лавочке,



совершенно одна, среди ледяного безвременья не начавшейся ещё весны и, казалось, больше в целом мире нет никого! Только она, ее дочь и ее внучка... Нас трое. Всего.

Я, пролетев, как на крыльях оставшийся кусок пути, протащив за собой тяжелые санки с вцепившейся в них, и выпучившей глаза от восторга и скорости дочки, наконец плюхнулась рядом. Жадно вглядываясь в мамино лицо, я почти кричала – «Что? Мама! Что случилось?»

Но мама уже успокоилась. Она смотрела на меня с обычной, затаенной усмешкой, и только по легкому дрожанию побледневшего рта, можно было догадаться – буря была! Только нам о ней знать было не обязательно!

– Что ты взбукененилась так? Неслась зачем? Я бы подождала, все равно погулять надо.

У меня пот тек по спине, несмотря на неприятный, пронизывающий ветер, я открыла было рот, но спокойный, останавливающий мамин взгляд не дал моему взрыву бабахнуть.

– Я просто соскучилась, да и время было. Когда вас ещё увижу, занятые все. Всем некогда. Пройдемся и пойдем чай пить к вам. Руку давай.

Мы долго бродили, прячась между домами от ветра. И только по холодной и непривычно жесткой маминой руке со слегка подрагивающими пальцами я понимала – не всё хорошо.

Но что тогда случилось, что она искала, что хотела сказать и что рвануло её душу – я так и не узнала никогда...

\*\*\*

На огромной полутемной прохладной веранде длинный стол накрыт кружевной скатертью. Кисти винограда, еще незрелого, но уже тяжело тянущего вниз упругие плети, заглядывают в окна и, кажется, просят впустить. Сонно и жарко, полудремотное состояние такое сладкое, что хочется совсем не открывать глаза, пока не сядет это всепроникающее солнце и от Волги не потянет хоть чуть-чуть живой и нежной влагой. Я совершенно превратилась в овощ здесь за две недели и, наверное, даже бы разучилась разговаривать, растворившись в вечном дрожащем и душном мареве, но... Разве там, где живёт мама заскучаешь?

– И эта скотина лукавая, ещё умудряется Ритку обижать. Да я за неё ему всё хозяйство пообрываю, гадёнышу старому!

«Гадёныш» – это дядя Боря, мамин брат. Жизненные пути брата и сестры снова пересеклись самым неожиданным образом, и теперь он поселился здесь, на маминой даче, прихватив с собой дрессированного полосатого кота, овчарку Гиську и ...жену Маргариту. Шикарный, усатый, сексуальный, как чёрт, несмотря на немалый возраст, дядька, щеголял по дачному поселку в умопомрачительных шортах, белой рубашке, узлом завязанной на мускулистом загорелом пузе и капитанской белой фуражке. Если бы не родственные узы, я бы, наверное, и сама не устояла. Бес это был, не дядька!

Маргарита была другой... Как случился их союз, я не спрашивала. Они мне казались тогда безнадежно старыми, и слово «любовь» даже не появлялось в моих мыслях, когда я думала об этой паре. Да я о них и не думала... Полная, небольшого роста, коротконогая, рыжая, как мама в молодости и очень некрасивая тётя Рита, была принята мною как данность. Раз – и есть!

Но добрее чем Рита, не было в мире созданий. И все выкрутасы своего красавца она принимала смиренно и радостно. Особенно, чуть приняв на грудь. А принять она любила, заглушала всё гадкое, что случилось в её неустроенной жизни и плакала тогда, сидя в беседке, подперев, по-старушечьи, полную конопатую щеку.

А вот мама этого принять не могла! Гоняла она братца, как сидорову козу, а он, поводя котиными усами, ничего не брал особо в голову. Но случился скандал...

– Какого... ты приперся утром, старый дурак!

Мама орала неистово. Я давно не слышала, что бы она так скандалила, и с интересом высунула голову со своего второго этажа, где минуту назад мы с мужем безмятежно загорали на «сексодроме» – большой открытой террасе, названной так неприлично с легкой маминой руки.

Картина была душераздирающей... Среди грядок с помидорами стоял дядька Боря, распаренный как после бани, с голым потным торсом и взлохмаченной головой. Голова его выглядела так, как будто через него пропустили ток, и воло-

сы так и остались в виде антенн, стремящихся в небо. В руке он держал огромный мясистый помидорище. Мама тоже была красной, даже бордовой. Как разъяренная зверюга, она сжимала и разжимала руки с длинными ухоженными ногтями, но от резкого и злого движения казалось, что это когти.

То, что она кричала, и что отвечал дядька трудно передать обычными человеческими словами. Но смысл был ясен: «Еще раз обидишь Ритку я тебе оборву...». Ну, в общем, понятно...

Хорошо, что дочка была на пляже с теткой Ритой, и не слышала всех изысканных выражений, которыми обменивались брат и сестра. Тем более, что брат тоже не особо отставал, ну а уж мастер он был в этом, будь здоров.

Вокруг бегал папа, он был в отличии от остальных участников мизансцены – не красный, скорее белый. Периодически пытался ухватить за руку то одного, то другого, но братик с сестричкой так ими размахивали, что папины попытки были тщетными. Нам тоже неохота было спускаться, чтоб не попасть под раздачу, и мы спрятались получше, под самой толстой виноградной лозой, шатром нависающей над сексодромом.

В какой-то момент что-то произошло. Где-то у дядьки каратнуло, и он, вдруг, из беззлобно отбивающегося кота превратился в обозленного тигра, фыркнул, швырнул в маму помидором, который, видимо перед этим собирался съесть, и вихрем ломанулся за ворота, долбанув металлической

створкой, и проорав уже на улице: " Ноги моей здесь больше не будет! »

Кот пыркнул под дом, Гиська завyla и метнулась за хозяином, еле просунув толстое туловище в дырку под воротами. Настала гробовая тишина...

– Ну и что ты натворила?

Голос папы прозвучал очень громко, хотя было понятно, что он не кричал.

– Что Ритке скажешь? Она же сейчас с горя помрёт? А?

Мама молча вытирала скомканной салфеткой лопнувший помидор со своего яркого сарафана и молчала...

\*\*\*

Успокоились все. Зареванная тетя Рита, махнув рюмашку «от нерв», пригорюнившись сидела в беседке, но явно отдыхала душой от любимого. Огромный цветастый чайник занял полстола, уставленного сладостями. Тихонько прихлебывая, я сидела смирно, потому что четвертая чашка уже булькала у горла, пытаюсь вырваться. Но уходить не хотелось. Мама, как всегда, что-то рассказывала так, что оторваться было невозможно, я обожала это времяпровождение с детства. И вдруг она засмеялась, прервав историю.

– Слушай, Ирк! Ты знаешь, почему мы баню перекрасили?

Я с трудом вынырнула из сложившейся в сознании картинки. Мне и вообще в голову не приходило, что баню надо

переукрашивать. Баня и баня... Белая...

– Ну, для красоты, – лениво протянула я, чтобы хоть что-то сказать

– Слушай! Сижу я тут как-то весной, на шезлонге. Прямо лицом к бане. Её так хорошо освещает, солнышко яркое, лучи, как прожекторы. А баня-то розовенькая была раньше, сомнительный был такой цветик. Ну ты не помнишь... И кажется мне, что на стенке тень мужская. Причем не просто мужик, а с этим самым, да здоровенным таким, торчащим. Аж до пупка!

Я окончательно очухалась и заинтересованно посмотрела на маму. Отец усмехнулся, встал и ушел в сарай за арбузом, решив видно довести дело до конца, лопнув всех присутствующих, как мыльные пузыри. Тетя Рита вытерла последние слёзы и улыбнулась.

– Показалось, что ли, Гель?

Соседи, Галина с Михаилом, тоже прибившиеся на чаек, перестали дружно жевать московское миндальное печенье и замерли, вытянув шеи,

– Ну да... Я тоже думала, показалось... Ну, думаю, совсем на старости лет башка свихнулась, ...й вижу. Ой... простите за плохой французский.

Я хихикнула неприлично, мне нравилось, когда у мамы при мне проскакивали горячие словечки. Правда, я смущалась, как девчонка.

– Потом смотрю еще один вроде стоит, а напротив ...

опа! Да хорошая такая, мясистая. Прямо перед тем, вторым. А у второго тоже так, ничего. Как бревно. Головой потрясла - не исчезает. Наоборот, чуть выше сиськи проявляются, расставленные, как у козы. Розовенькие.

Уже все перестали пить чай, устали на маму, и в наших глазах уже можно было, видимо, прочесть явное беспокойство. Поэтому мама не стала тянуть.

– Мам, что это было то? Не тяни, давай, рассказывай.

– Оказывается здесь, раньше, до последних хозяев, художник жил. Входящий в местный бомонд. Так он тут приемы устраивал, там видишь в стене веранды проем заделан? Там ниша была насквозь, оттуда лента типа транспортера выходила, блюда прямо в сад выезжали. А здесь, напротив бани, шатер ставили, увитый розами. Это сейчас уже все розы сохли, а то тут красота была, говорят, неопишутая.

– Ну, а баня, то, баня, Гель...

Тетя Рита подпрыгивала от нетерпения, напрочь забыв о своей беде.

– Ну а баня была расписана сценами из Камасутры. Смачно так расписана, качественно. Новые хозяева, те, что нам продали, потом рассказывали, что маляры краснели, когда эту красоту замазывали. Вовка до сих пор на стенку смотреть боится, аж зеленеет. А я жалею. Надо было оставить...

Хитрые глаза мамы смеялись и поблескивали зелеными огонёчками в свете нежного Волжского заката...

\*\*\*

– Пустиииите меня... пустиииииите. Я бездомный.

От этого тоненького воя у меня волосы стали дыбом. Я выронила зубную щетку и, быстро прополоскав рот, выглянула во двор. За решетчатыми воротами, в темной, почти черной тени пыльных кустов сирени виднелись две звериные фигуры. Вернее одна – была явно звериная, острые уши отбрасывали длинные тени в свете раннего солнышка. А вот вторая... Зверь был большим, крупным, толстые лапы и мощные плечи пугали, но на нём почему-то было нахлобучено что-то вроде фуражки с козырьком. Или это причудливая игра света... К получеловеческому вою присоединился человеческий, и этот дуэт вызывал жуть в душе и слабость под коленками. Я заорала.

На мой вопль выскочили муж и папа. Мужики ринулись к воротам, но потом что-то произошло, потому что они вдруг осели, держась за животы. Я смотрела, совершенно обалдев, как мама по-королевски продефилировала мимо меня, подвинула скорчившихся мужиков и, открыв створку, ввела во двор дядю Борю. Он был в страшной серой рванине, но в белоснежной капитанской фуражке и с собачьим поводком на шее, за который она его и тащила. Дядька радостно и бодро топал на карачках, глухо тУпая мощными коленками, и вокруг него прыгала ошалевшая Гиська с круглыми шарами вместо глаз

– Пустиииите же... Жрать хочуууу...



– С вами не соскучишься, блин! – сообщила я почетному собранию, неожиданно для себя, развернувшись, чувствуя как противный холодок между лопатками пропадает, а губы сами-собой растягиваются в дурацкой улыбке, ушла в свою комнату и хлопнула дверью!

## Глава 19. Яблоки

– Мам! А зачем ты тащишь-то их всех к себе на дачу? Мне кажется, они тянут из тебя что-то важное, жизненно необходимое. Силу, может. Здоровье! Оно и так у тебя... Сама знаешь!

Мама с трудом, тяжело опираясь на перила беседки, поднялась с кресла и посмотрела на меня. Зло посмотрела. Я редко видела её такой. В такие минуты её глаза вдруг выстреливали холодными огнями, а лицо становилось чужим. Сжатым...

– Я миллионы раз говорила с тобой на эту тему, Ира! Ты не понимаешь, потому что твоя душа постоянно мельтешит в мелочах. У тебя на глазах шоры, как у вечно бегущей, глупой лошади. А надо останавливаться, чтобы увидеть главное. Что может быть важнее ребёнка? КАК может ребёнок отнимать здоровье? Да я и живу- то только ради них.

Этот наш разговор был бесконечным и постоянно повторяющимся. Я видела, что мама очень изменилась, почти не занимается своим здоровьем, и винила в этом её работу.

\*\*\*

Я помнила этот день. Тогда, в противный, холодный ноябрьский вечер, к маме заскочила семейная парочка. Мамин

доктор, лечивший её больные ноги, красивый, чуть надменный дагестанец привел жену – смешливую полненькую русоволосую красотку с яркими, смеющимися глазами. Привел знакомиться и показать дочурку.

«Ольга», – представил он жену, – «И Инночка, наша младшая». Дружная семейка излучала такой свет, что в окно даже вроде заглянуло солнышко. Но, при ближайшем рассмотрении, оказалось, что солнышко держит мужчина. На руках у него сидел крошечный пупс такой красоты, как будто его нарисовали акварелью на тончайшей, дорогой белой бумаге. Наверное, только слияние гордой крови горных сынов и тончайшей русской нежности может породить такое чудо. Мы с мамой ахнули, одновременно прижали руки к груди и синхронно сели на диван, не отводя глаз от ребёнка.

– Слушай, дай подержать! – мама даже охрипла, встала, подошла, протянула руки.

Девочка сидела так же, она не поменяла позы, не отклонилась и не потянулась навстречу. Она даже не удостоила нас взглядом своих огромных черных глазниц в тени неральных ресниц, и лишь слегка качалась на руках отца. Мама подошла поближе, всмотрелась. Взяла красотку на руки, чуть подбросила, играя. Потом снова глянула ей в лицо, внимательно и серьезно. Села на диван, посадила ребенка на колени. Помолчала.

– Вов! Поди, а?

В комнату заглянул папа, он вытирал распаренную лыси-

ну, на плече его висело полотенце, под мышкой он держал здоровенный поднос. Папа был на хозяйстве и варил гостям пельмени.

– Посиди с ребенком пару минут. Мне с ребятами поговорить надо.

Мы с папой долго сидели с девочкой в комнате. Я, замучившись от попыток привлечь её внимание и возненавидев бренчащую, как сумасшедшая, и совершенно бесполезную неваляшку, наконец сдалась. Я никогда не видела таких детей. Наверное, таким в детстве был Будда...

Из комнаты вылетела Ольга, злая, как фурия. Смущенный врач плёлся сзади, мама тоже казалась растерянной. Женщина схватила ребенка одним рывком и выскочила в коридор, ляпнув дверью так, что посыпалась штукатурка. Мы замерли, образовалось что-то вроде немой сцены.

Молчание прервала мама.

– Не обижайся, пожалуйста. Но ты же медик, присмотрись к ребенку. Я детей много вижу, я редко ошибаюсь. Сейчас ей сколько?

– Четыре месяца... немного до четырёх...

– Ну вот. Если я права, а я права, уже скоро всё будет видно. Но, что-то мне подсказывает, дорогой, что вы прячете правду сами от себя. Ольга ведь тоже врач? Мужчина дернулся, как будто его ударили по лицу.

– Ладно, Ангелина Ивановна. Мне кажется, вы преувеличиваете. Слишком. Замнем этот разговор.

Он остановился у порога, глянул резко, как выстрелил:

– Если вы правы, мне жить нельзя. Вы вот – знаете, что в этом нарушении виноват именно мужчина? Но этого просто не может быть, старшая, Ляля, у нас здорова, вы же её знаете. Или тоже скажете – ненормальная?

Мама вздохнула, подошла, чуть погладила его по плечу.

– Не скажу.

– И те мои девочки, от Гульнары? Абсолютно здоровы! Так что – вы ошиблись! Не подумали и сказали! Зря!

– Я извинюсь, если не права. Сама к твоей жене приду, с повинной. Но девочку – проверь! Вдруг, ещё не поздно!

\*\*\*

– Ты посмотри, у тебя постоянный стресс, мам! Сколько они уже здесь живут? Месяц? Два?

Я настаивала несмотря на то, что видела, как мама злится. Я редко так поступала, но сейчас, когда начинала понимать, что она делает с собой, я вдруг стала переть, как танк, начавший очередную атаку. Но атака всегда успешно отбивалась сильной и, последнее время, злой волей мамы, настаивающей на свободе своих решений. Она всегда всё решала сама. Только сама!

– Отвали, моя черешня!

Фраза была привычной, не злой, но однозначной. Она все-

гда так говорила в качестве последнего резюме.

\*\*\*

Девочка, высокая и стройная со странным, остановившимся, но удивительно красивым лицом, ловко спустилась со второго этажа дачи, и, не, глядя на нас с мамой, открыла холодильник. Я хотела было встать, но мама придавила меня к лавке, положив на колено полную, белую руку.

– Тихо! Смотри! Не мешай ей, просто – наблюдай. Ты видишь, какая она красавица?

Я послушалась и молча смотрела, как быстрым движением перехватив черные, струящиеся волосы и умело заколов их на затылке, маленькая красотка начала вынимать из холодильника продукты – огурцы, помидоры, лук, салат, майонез. Подумала, заглянула поглубже в холодильник, сунув туда голову, достала брынзу. Расставила все на столе, ровно-ровно, отошла, посмотрела внимательно, подравняла высунувшийся огурец. Оглянулась, бросив взгляд как-то мимо, быстро подошла, и, равнодушно отодвинув мою руку, как мешающее ей бревно, достала доску и нож.

Я хотела было нож отнять, но мама меня опять дёрнула:

– Не лезь! Особенно, когда у неё нож. Там знаешь, какая силища. Я как-то раз с ней в машине осталась, ребята на рынок пошли. Так, думала, не удержу, машина ходуном ходи-

ла. Страшно это, Ир. Как будто дьявол в неё вселяется. Знаешь же, что я не верю в эти вещи. Но, поверишь тут...

Девочка медленно и методично нарезала овощи. Ровненькие, тоненькие кусочки она колбасками укладывала в миску. Отходила, рассматривала, прищулив красивые глаза, снова подходила. И резала, резала... Мы с мамой смотрели, как замороженные, у меня было ощущение нереальности, неверности происходящего, даже свет на веранде казался нездешним, странным. Наконец, она дорезала последний огурец, швырнула нож в сторону, так что он вонзился в столешницу и запружинил, чуть зазвенев. Плюхнула из банки майонез, перемешала. Достала тарелки. Потом вдруг посмотрела на нас, резко, как будто только заметила. Мы затаили дыхание, и совсем замерли, обалдев. Наверное, сейчас я бы сделала всё, что она сказала, пошла бы за ней, как за Гансовой дудочкой. Но очарование разрушила Ольга, с силой грохнув чем-то у двери. Девочка вздрогнула и бегом пронеслась мимо, взлетела по лестнице, оставив за собой шлейф непривычного, острого в теплом утреннем степном воздухе, большого запаха.

– Представляешь, Оль. Ведь она сама сделала салат!

Мама смотрела на Ольгу большими глазами, она даже слегка побледнела от напряжения и веснушки на белой коже стали ярче, будто проявились.

– Так она много чего сама делает, Ангелина Ивановна. Может даже тесто замесить, если на неё найдёт. Откуда бе-

рётся, сама не понимаю.

– За тобой наблюдает, может... \

= Да вроде и не замечала. Хотя, может, конечно.

– Хозяюшка, смотри ты. Кто бы мог подумать...

– Да уж. Беда в том, что она делает только то, что сама считает нужным. Нас нет в её жизни, никого нет. Я всё время думаю – неужели она там одна, в своём мире? Или есть кто?

Ольга тяжело села напротив мамы, вздохнула. Она сильно изменилась за эти годы, постарела, осунулась.

– Устала я. Не могу больше. Хотела в интернат её отдать, муж наотрез. А с ней страшно становится, ей мысли не предугадаешь. Да и Ляля боится её. Уже дома с ней не остаётся, говорит – старше стану, уеду от вас.

Мама молча слушала женщину, чуть шевелила губами, как всегда, бывало, когда она очень хотела что-то понять.

– Вот и отдыхай! Пока нас здесь вон сколько, все помогут. И Рита так нежно к ней относится, и Борис. А уж Владимир Иванович совсем души не чает. Ей легче здесь, тебе не кажется? Живи до осени, не спеши. Успеешь в свою Москву!

На веранду вошла Рита, дядь Борина жена молча присела, пригорюнилась, погладила Ольгу по руке.

– Всё образуется, детка. Всё потихонечку. Вон, смотри, она с Борькиной кошкой как играет. Как здоровенькая. Всё будет хорошо.

Ольга смахнула слёзы, порывисто встала и ушла к себе.



\*\*\*

Я вышла во двор, опасливо посмотрев в сторону девочки, прокралась в беседку и спряталась за увивающими навесы зарослями фасоли. Я боялась этого ребёнка, и мне было очень стыдно перед мамой. Но пересилить себя у меня не получалось, поэтому я старалась по максимуму избегать контакта и оберегать от него свою дочку. Мама же, наоборот, старалась девочек сближать. Это вызывало у меня жуткое неприятие, и мы скандалили, сильно и, часто, некрасиво. Кроме того, мне до слёз было жалко Ольгу, я просто на своей шкуре ощущала весь ужас её жизни. Но и по этому поводу мы не находили с мамой общий язык – она женщину не жалела. Навсегда расставленные приоритеты делали любого ребёнка в её глазах – только правым, без нюансов и отступлений. Я этого не понимала...

\*\*\*

Кто-то постучал в ворота. Мы с дочерью увлеченно собирали малину и не собирались отвлекаться от своего сладкого занятия. Машкина физиономия была уже покрыта плотным малинным слоем, но это совершенно не мешало ей набивать рот все новыми и новыми горстями, попутно разжимая мне руку и засовывая теплую мордочку в мою ладонь, в поисках особо вкусных ягод.

На участке царило благополучие и нега, жаркое Саратовское солнце наконец плюхнулось за ивы, поближе к воде,

и все облегченно вздохнув, занялись делами. Инна тихонько играла с кошкой, как всегда. Она тонкой палочкой прочерчивала идеально ровную линию на земле, ждала пока кошка попытается лапкой её схватить, быстро всё стирала и опять прочерчивала. Так они повторяли снова и снова, и мне начало казаться, что кошка тоже не совсем в себе.

Стук в ворота нарушил тишину и благость нашего вечера. К отцу, за какими-то инструментами, явились два соседа, расхристанные от жары и приличного шафе, видно с устатку. От них за километр несло пивом и воблой, в руках старшего была миска с красивыми, сияющими в вечернем свете, как лакированные, яркими яблоками. Что пришло в их прожаренные головы, трудно сказать, но один, пока отец возился в сарае, прямиком отправился к Инне.

– Привет, дитя! Яблочка дать тебе, красавица?

Ольга настороженно насупилась и двинулась было по направлению к дочери, но мама останавливающие приподняла руку.

– Подожди, Оль. Вы её совсем общения лишили, может ей его и не хватает. Не лезь, вдруг она отзовется.

Ольга промолчала, поморщилась, но послушалась. Мы смотрели, как Инна, насупившись и глядя в сторону, обошла яблочного благодетеля по кругу, и снова молча занялась кошкой. Но мужик был настойчив, так просто его было не обойти.

– Детка! У меня такие яблочки вкусные. На держи.

Он протянул яблоко девочке и подвинулся поближе. Инна резко саданула его по руке, так, что яблоко выпало и покапало. Отошла и взяла за длинный нос большую железную лейку, стоявшую около садового крана. Яблочный дядька досадливо крякнул, вытащил из миски второе яблоко и пошел на девочку.

Ольга рванула с места, но не успела. В мгновение ока развернувшись, Инна со всей силы врезала лейкой дядьке по животу, так что он, упав на колени, скорчился и завыл. Девочка добавила ему ещё – уже по хребту, дико заорала, и бросилась прочь, ломая кусты смородины и хрусткие стебли маминых любимых циний.

\*\*\*

Дядя Боря с отцом Инны еле скрутили бешено изгибающуюся, брыкающуюся девчонку. Кое-как ей сделали укол, кое-как уложили. На маму было страшно смотреть, бледная, с посиневшими губами, она глотала валокордин, который ей лили все по очереди. Наконец, все успокоилось. Мы ещё долго сидели на улице, приходя в себя. Мама держала руку Ольги, чуть поглаживая, и молчала.

## Глава 20. Все уходят...

– Что случилось, мам? Что?

Я не перевариваю ночные звонки. Понятно, что их мало кто любит, но мне всегда казалось, что я ненавижу их особенно сильно, больше всех. Наверное потому, что за всю мою жизнь, ночью мне звонили всего лишь пару-тройку раз, не больше. И звонила только мама. И только из-за беды...

Когда среди ночной тишины раздался звук телефонного звонка, я заполошно вскочила, бросилась, очертя голову, как олень, попавший в западню, сама не зная куда, сбила какую-то мебель. Судорожно шаря в темноте в поисках трубки, я медленно соображала, где нахожусь, сердце колотилось у подбородка, и я долго не могла разобрать мамины слова. В ушах стоял ровный гул, вроде где-то далеко шёл поезд в тоннеле.

Голос у мамы дрожал. Моя железная леди редко позволяла себе такое, а тут не справилась, не совладала...

– Папа?

С ужасом ожидая ответа, я боролась с гулом и старалась удержаться, вцепившись в стенку.\

– Нет, Ирк. Рита умерла...

Стыдное облегчение нахлынуло, я вздохнула. Папа жив-здоров, мама тоже, слава Богу! Я даже не сразу поняла, о чём

мама говорит. «Рита... какая Рита... А, господи! Жена же, дядь Борина. Что это она, здоровая была, как лошадь...»

Мама вдруг озвучила мои мысли:

– Она ведь такая здоровенькая была всегда... Знаешь, страшно мне, Ир.

Я почти не удивилась, мы часто думали в унисон, иногда я даже путалась, где её мысли, где мои. И сейчас я просто кожей почувствовала её страх, черный и безысходный. «Мам», – я было хотела сказать что-то успокаивающее, но она перебила меня:

– Ладно, я утром позвоню. Сейчас папа с Борькой в больнице, я тут одна сижу. Сердце давит. Лягу.

– Мам, ты корвалолу давай, накапай. И Галину позови, пусть с тобой переночует.

Галина – третья из «дачных мадам», как называли нашу золотую троицу мужчины. Красивая, толстая не безобразной, рыхлой полнотой, а упругой, белой, той, что называли «кровь с молоком» женщина управляла своим небольшим хозяйством легко, почти незаметно. Правда в её хозяйство входил и муж, худой, маленький, очкастый дядька, с вредным взглядом и нудным жужжащим голосом. И вот с ним у неё не получалось. Он мог спокойно уехать, например, с базара если Галина задержалась на минуту, и тогда ей приходилось тащить неподъемные сумки самой. Или он мог устроить жуткий скандал из-за десятиминутной задержки обеда. Ел он по часам, берёг желудочно-кишечный тракт. Правда

это не мешало ему вжбанить литра полтора пива на халяву у гостеприимной мамы. Но халявное пиво тракт не портило. Только улучшало.

– Галина сейчас прибежит, её красавец мужиков повёз.

Мама уже немного успокоилась, говорила ровнее

– Да у Гальки самой давление триста! Ты же знаешь!

\*\*\*

Действительно, Галина, при всей своей жизнеутверждающей внешности была очень нездоровой. Я сама была свидетелем, как прибежав к маме, вся взмыленная, она шмякнула на стол здоровенную миску соленых огурцов, разом махнула стакан ледяной колодезной воды и упала на стул, обмахиваясь газетой, как веером.

– Сёдня двадцать банок закрутила. Маловато, но чего-то голова кружится. Гель, давление что ль померь, а?

Мама, нахмурившись, достала аппарат, приладила на белую красивую руку.

– А что не пятьдесят? Или сто? Сама ж, говорила, тридцать банок не закроешь, день зря прошёл.

Она внимательно и в прищур посмотрела на стрелки. Накачала ещё. Потом ещё. Потерла вспотевший лоб и гаркнула:

– Вов! Скорую давай! Быстро.

Влетел папа. Галина смотрела на эту беготню недоуменно.

– Чего вы всполошились -то? Сколько там?

– Двести восемьдесят у тебя! На сто шестьдесят! = Мама

почти кричала.,— Быстро ложись! На лавку прямо!

Галина встала, усмехнулась.

— Да если бы я по такому поводу всё время на лавку ложилась, я б так на лавке и лежала всегда. Все лавки бы пролежала до дырок.

И, не обращая внимания на окаменевших зрителей, ловко вертанулась на ножке, и павой отчалила к воротам.

— Миску из под огурцов не забудьте мне вернуть, доктора хреновы...

\*\*\*

Я положила трубку и долго сидела, тупо глядя в стенку. Надо бы поехать, но тут и так проблем море. Дочь в институт готовится, свекровь вон кашляет, как коклюшная, денег нет не фига. Да ещё это... .. зачем там я...? А! Хочется закрыть глаза и больше не открывать никогда, а тут похороны. От моего присутствия ничего не изменится, ртом на поминках меньше. Да и Рита эта... Мне ни о чём...

\*\*\*

— Знаешь, Ирк, мы дружили очень. Я мало таких людей имела в жизни, чтобы вот прямо в душу, знаешь ведь. Там, в ней, всё дети больше. А тут... Хороший она человек была, Рита. Козлу только досталась.

Мы с мамой сидели на кухне и, как в детстве, пили чай. Теперь уже я таскала им сладости, мама всё меньше и мень-

ше выходила из дома, только на работу и обратно. Вес давил её, превращал медленно и безжалостно сильное, стройное тело в огромный, неповоротливый капкан. Она всё понимала, но не признавалась, не сдавалась. Да ещё и ноги... С каждым годом ноги у неё становились всё более отечными, вздутая кожа стала нависать над туфлями уродливыми складками, несмотря на ежевечерний и ежеутренний папин массаж.

– Пить ещё Ритка, дурочка стала... Я уже отнимать у них начала. Этот гад Борька зашил, а самогонку гнал, ради искусства. Рецепттики подбирал... искусник, сука...

Я вдруг подумала, что, если не смотреть на маму, а просто слушать, никогда в жизни не поймешь, что ей – столько лет. Я вообще, её всегда представляла только в одном возрасте. Такой, какой она была тогда, когда мы пели про васильки. Веселой, ладно, сильной. И только такой.

Мама тяжело встала, достала из холодильника батон и масло. «Мам!», было вякнула я, но она предупреждающе подняла руку, так как она делала всегда, с детьми.

– Ну и вот. Мы с Ритой окна мыли. Ну, вернее, я снизу ей всё подавала, а она легкая, как молодка, по лестнице – туда-сюда. Белка прям. Потом занавески притащила, сама всё постирала, мне не дала. «Сиди», – крикнула на меня даже, – «Со своими ногами, не лезь».

Я смотрела, как мама говорит. У неё появилась новая манера разговора, совсем несвойственная ей, той – резкой,



быстрой, красиво-рыжей. Тягучая манера, медленная. Со-  
всем мне не нравящаяся, похожая на паутину. Она тянула  
слова, чуть прикрыв глаза.

– Потом, бутылку достала. Я ей говорю, – " Ритк, может  
вечером, что ты прямо среди бела дня?»

А она, так посмотрела на меня странно, бутылку поставила.  
«А и ладно», – говорит, – «После баньки, тогда». Отец  
баню ей натопил, аж до жути, она так любила. Первая всегда  
шла. Борька за ней...

Я почти воочию представляла саратовский вечер, запах  
пыли и речной свежести, сплавленный жарой в единый аро-  
мат, который меня всегда удивлял, и по которому я так тос-  
ковала в противные московские зимние вечера. Веранда,  
пронизанная солнечным вечерним светом, отблеск стиранных  
занавесок, расшитых люрексом, на белой кружевной скатер-  
ти, резная тень большого букета на темной деревянной сте-  
не. И смешливое, доброе лицо тёти Риты, и большое, яркое  
лицо мамы и такой тёплый покой...

– Из бани она пришла, веселая, румяная. Опять бутылку  
достала, рюмашку налила и за яблоками полезла. Потом,  
что-то качнулась как-то, на лавку села. Смотрю, побледнела.  
Я говорю ей: «Ритк. Тебе что, нехорошо?» А она: «Да нет...  
устала я просто. Пойду, лягу». И к себе, наверх. Да легко так  
взбежала, быстро.

Мама уже говорила отрывисто, резко, было видно, как ей  
неприятно вспоминать. И страх какой-то в глазах появился.

В жизни я страха в её глазах не видела. Она отхлебнула чай, отодвинула в сторону бутерброд, который за минуту до этого любовно сооружала – тот самый, из детства. Хлеб, масло, сверху слой сахарного песка. Я долила чай, снова заглянула в ей в глаза. Страх был там, он никуда не делся, от него даже зрачки стали большими, дрожащими.

– Я задремала. Чувствую, трясёт меня кто-то за плечо. Смотрю – Борька! Рожа испуганная, эта его идиотское вечное шутовство пропало сразу, смотрит с ужасом. Говорит – «Алюсь, Ритка какая-то странная. Иди, глянь». Я наверх, как птица взлетела, вроде и ноги мне подменили разом. А она... Слюна уж текла. Перекосило всю... довели её ещё живую. Ну и ... всё.

Мы помолчали. Я отвернулась к раковине, чтоб не всплакнуть, начала мыть посуду. Мама вытирала.

– И ведь, гад. Полгода прошло, уже бабу привел. Да симпатичную, где взял только. Кобель был, кобелём и помрет! —

Мама швырнула полотенце на стол, с трудом встала и ушла в спальню...

\*\*\*

Кто-то страшной, безжалостной рукой изломал эту девочку, вывернул крошечные шарнирчики рук и ног, вернее, даже не выломал, а вывернул неправильно и швырнул прочь, как ненужную пластмассовую куклу. Так она и осталась сломанной. Вот, правда, ненужностью Бог не наказал её, награ-

дил мамой и папой, любящими, преданными, замечательными. Они сидели сейчас на кухне, пили крошечными рюмочками коньячок, вернее пила Света, а Лёня, улыбаясь своей обезоруживающей улыбкой, чуть щурил синие глаза из под больших, слегка дымчатых очков, слегка подтрунивал над поддавшими женщинами и периодически грозил распоясавшейся жене пальцем.

Девочка же пыталась ползать по огромной маминой кровати и всё заваливалась в сторону, беспомощно и жалко. Я сидела с ней, пыталась как-то её занять, но она смотрела на меня огромными, страдающими глазами, умными и всё понимающими, и всё ползла, ползла по направлению к двери. Искала своих...

Я знала эту историю. Своей обыденной жутью она обходила и оставляла далеко позади самые страшные голливудские триллеры. Я только не понимала, почему нелюдям, которым свыше доверено спасать, не отрезают руки-ноги, когда они равнодушно проходят мимо беды, цинично сплёвывая в сторону. И почему, та компания вырожденков, которая бросила рожавшую Свету одну, позволила ей залиться кровью и залить ею своё дитя, до сих пор ходит по земле, убивая дальше...

– Мы схему с тобой выстроим. Она обязательно сработает! Не может не сработать! Мозг, он же, как любой другой орган, ему тренировка нужна.

Мама чуть поддала коньячку и говорила громко, возбужденно. Они со Светой разложили на диване какие-то книж-

ки, тетрадки, яркие, странные игрушки, чудные и непривычные.

– Вот, глянь! Я привезла специально. У нас конгресс был в Швеции по таким детям. Я всё собрала для тебя, весь комплекс. Ежедневно будем работать, тут нельзя пропускать не одной стадии. А лекарства...

Мама развернула здоровенный лист, весь исписанный мелкими иностранными буквами, разглядила его.

– Не нюнь! Всё достанем!

У Светы лицо вдруг стало таким просветленным, в нем засияла такая надежда, что я даже посмотрела на окно. Солнце, что ли выглянуло?

– Ангелина Ивановна! Я знаю, что всё получится! Я знаю, что она и школу закончит и в университет поступит. Мы с Ленкой разобьёмся, а её вытащим. Спасибо вам!

Лёня молча смотрел на жену из под дымчатых очков и у него был взгляд старой, мудрой черепахи.

\*\*\*

– Ты что! ЕГО осуждать вздумал? Я тебя дисквалифицирую. Будешь вон, мой сад поливать, червяков с роз собирать, олух!

Мастер Мер был разозлён не на шутку. Его белые пышные усы покрылись чем-то серо-пыльным, похожим одновремен-

но и на пепел, и на патину, мех на безрукавке вздыбился, и он стал уже не пасечником, а злым котом. Кот держал за шкуру того, кто был похож на воробья, и потряхивая его, как нашкодившего котенка, выгребал из карманов серые шары.

– Ты о нас подумал? Тыщи! (Мастер мер никогда не позволял себе коверкать речь, а тут забылся, даже начал брызгать слюной, как торговец рыбой, у которого украли мелочь). Тыщи веков мы соблюдаем правила. ОН – неподсуден! Запомни! ОН – всегда прав! А ты что? Кто надоумил тебя швырять эти шары не вниз, а вверх? А если бы попал? Сгинь!

Те, кто распределяли шары, попрятались по углам, забились за занавески, превратились в разноцветные тени. Они не видели Мастера мер таким. Это было ужасно...

А тот, похожий на воробья, сгорбился, медленно подошел к краю и заглянул вниз. У него текла слеза из левого круглого глаза, он подбирал её шершавым кулачком и всхлипывал втихаря. Потом, отвернувшись так, чтобы никто ничего не понял, прошептал вниз, глядя сквозь серое облако:

– Ты всё равно получишь свой самый лучший и яркий шар. Не бойся. Ты самая лучшая... Я с тобой...

## Глава 21. Болезнь

– Знаешь, как чудно, Ирк... Я даже ничего не поняла! Стою у доски, руку подняла, чтобы мел стереть, а она – рука, в смысле, просто деревянная. Начала опускаться – падает, как бревно. И щеку повело, вроде онемела. Глаз задергался. Да глаз -то у меня давно, я бы и внимания не обратила. А вот рука...

Мы сидели с мамой на большой, удобной кровати, застеленной абсолютно белоснежным бельём. В этом госпитале всё было так – по максимуму, в маминой палате на одного больного был даже телевизор. Поток народа у неё и здесь не иссякал, половина сотрудников госпиталя были мамины-ми родителями-учениками, шли чередой и сейчас мы с ней попали в редкую минуту затишья.

– Мам! Я тебе сто раз говорила – худей! У тебя микроинсульт ведь, не больше, ни меньше. Хорошо, снова обошлось. Повезло тебе, а ещё вон и ноги у тебя такие, и с глазом... Глаз – это диабет! А диабет, это вес твой дурацкий. И не надо на меня так смотреть!

Мама смотрела зло, вернее, защищаясь. У неё всегда, когда я заводила свою песню про вес, глаза становились чужими, а лицо закрытым, вроде как опускали заслонку.

–Причём тут диабет! Это нервы. Всё из-за вас! И хватит!

\*\*\*

С глазами вообще всё случилось неожиданно, как обухом по голове, среди полного благополучия, белым днём. Это произошло года два назад. Отец позвонил мне в понедельник на работу и сообщил, что мама поранилась кисточкой от туши и они едут в поликлинику. Окулист районного дворца здоровья, увидев, залитый кровью, вспухший мамин глаз, с ужасом выпер её в первую глазную, что в центре Москвы, на Маяковской. Там сделали анализ крови. У мамы был сахар – восемнадцать! Практически, прекома. Она жила с таким сахаром несколько лет. И ничего не чувствовала. И если не лопнул сосуд в глазу...

Сахар, конечно, снизили, но поставили страшный диагноз – диабет! Мама хихикала, называя себя сладкой женщиной, отец отнимал у неё булки, выдерживая шквал негодующих реплик. Я понимала, какой дамоклов меч навис над нами, старалась не думать, периодически заводила разговор о диетах, выдерживая такой же шквал. Мама не признавала компромиссов, продолжала жить, как жила. Глаз у неё не видел совсем, она снимала очки и подносила всё, что хотела рассмотреть близко к лицу и беспомощно-близоруко шурилась.

«Качество жизни нельзя нарушать!», говорила она громко, воровски таща очередной рулетик с орехами из пакета. Я проклинала того идиота, который научил её этой фразе,

и старалась отодвинуть пакет подальше.

\*\*\*

В палату опять заглянули, потом кто-то вперся, потоптался на пороге и смылся в коридор. Это явно был очередной спиногрызик, я сразу узнавала мамино выражение, оно бывало таким только тогда, когда ей попадался на глаза ребенок. Она смотрела на детей особенно, этот взгляд, такой проникающе-любовный, ни с чем нельзя было спутать. Болезнь не смогла изменить её характер, и я жадно вглядывалась в мамино лицо, пытаюсь понять, откуда берётся эта сила. Сейчас, здесь, на больничной койке сидела не потерянная, возрастная, толстая тетка, пережившая инсульт. Передо мной сидела моя королева – вся в духах и туманах, в шелковом, расшитом яркими птицами, кимоно, с длинными, чуть мерцающими сережками, и массивным кулоном – рыбкой на шее. Она подвела глаза, и подрумянила щеки, но рука её не слушалась, линия оказалась толстой, неровной и прерывистой, а лицо слегка пятнистым.

– Ир. Я тут что-то никак... Помоги.

Мама говорила смущенно и неловко тыкала меня расческой в ладонь. Она не могла причесать затылок, не поднималась рука, а попросить – стеснялась. Она никогда никого не просила. Даже меня...

– И вот еще. Там Галка, ну, тетя Галя, тетка твоя. У неё на работе проблемы, денег нет. Ты там возьми у меня в ящи-



ке, отправь. Да побольше возьми, не жадюжничай. Сама знаешь, как она... что она...

Я знала. Тетю Галю давно бросил её муж – красавец армянин, она тянула дочку одна и никогда не жаловалась. Они были похожи в этом с мамой. Гордячки.

\*\*\*

Самое ужасное в этой истории было – это сказать! То, что я натворила, оно уже неисправимо, но меня это не пугало, я за себя совсем не боялась. А вот как сказать им? Маме? И, особенно, отцу...

– Голяп. Ты давай, веди себя хорошо. Маму не расстраивай, она, видишь, как болеет. Так что, вы там, с мужем, между собой, поговорите, а при ней – не ругайтесь.

Папа говорил тихо, и даже стеснительно, непривычно прикрывая рукой рот. Я видела, что он переживает наши постоянные ссоры с мужем, переживает сильно, ему неприятно говорить со мной на эту тему, у него краснеют уши и лакированная аккуратная лысинка покрывается испариной, но он всё же продолжает разговор.

– Ты вот с ним помирись, а мама переживать будет. Хорошо, обошлось. А не дай бог опять случится.

\*\*\*

Бог нас миловал в этот раз, мама поправилась. Причём по-

правилась настолько, что совсем не осталось следов от этого нарушения, всё стало на свои места. Она вышла на работу, правда работать стала чуть меньше, убрала нагрузку. Да и папа всё чаще и чаще стал её провожать. Вдвоём они дружно брели по улице, взявшись за руки, медленно, не спешили. О чем-то переговаривались тихонько. Иногда папа наклонялся, поправляя на больной маминой ноге сползшую повязку. Зато в доме количество детей увеличивалось в геометрической прогрессии. Они приходили и уходили, на всех полочках у мамы были разложены карандаши, тетрадки и тетрабочки, пластилинчики, краски и книжки.

\*\*\*

– Господи, чё это с тобой. Ну, дают!

Из темного коридора на нас с дочкой напало страшное существо со вздыбленными веревочными волосами и выпученными глазами. Я чуть не померла со страху, Маша заорала трубным басом. К счастью, у чудовища оказался голос отца, он сдернул маску и подхватил внучку, закружил её по прихожей.

– Это мы маски народов Африки тут с ребятками изучаем, маме привезли. На мне демонстрация происходит. Как я тебе?

– Все дети у вас от такой демонстрации описаются. Вон, ребенок, смотри как нервно дергается, напугал ты ее. Демонстраторы!

Мне нравилось всё это, хоть я и ворчала. От мамы никогда не знаешь, чего ожидать.

\*\*\*

Сказать маме о случившемся со мной я так и не решилась. А как расскажешь, что после пары шутливых фраз и голубого ласкового взгляда огромного, как слон, Анатолия, нового сотрудника, я вдруг растаяла шоколадкой на жару. Что в моей голове что-то щелкнуло и вместо спокойного, тупого равнодушия последних лет, ровного, похожего на гул, вдруг зазвенело что-то неуверенное, красивое, мелодичное. И от этого красивого сломались мои логичные и точные, словно штангенциркуль, мозги. И что я начала творить такое, от чего у меня самой волосы вставали дыбом.

Я сидела в пустой, малюсенькой шкатулке-квартирке, на самом краю моего привычного мира. Я даже не знала, раньше, что существует этот город на карте дальнего Подмосковья, и что в нём тоже живут люди. Для меня вообще, Подмосковье не существовало,

Всё, что произошло до моего волшебного перемещения сюда, я почти не помнила. Где-то в далёком далеке, остались разъяренные и одновременно жалкие, как у побитой собаки глаза мужа, растерянные дочкины, заплаканные свекрови. И чувство бешенства и провала, так бывает, когда вдруг решаешь сделать последний шаг перед полетом в пропасть. Тупо всплывало, что я швыряла какие-то манатки в сумку,

перемешивая колготки с лифчиками, никак не могла справиться с идиотскими бусами, намотавшимися на туфли. Те самые туфли, новые, классные, которые мы с Толей купали вдвоем, глупо хихикая и толкаясь, словно одуревшие от гормонов школьники. Еще помнила, что я безуспешно пыталась содрать старинную икону со стены. Икону мне подарила мама, благословив ею мой такой печальный уже юбилей. Но икону муж содрать не дал, оттолкнув грубо, неловко, так, что я чуть не свалилась со стула.

«Икону не возьмешь! Обойдешься», – рявкнул он, неприлично, жёстко. «Это моя! Это мама...» – вякнула было я, но заткнулась, посмотрев в лицо дочери и зачем-то сунула в сумку здоровенный набор ложек-вилочек, видимо в компенсацию. Их мне тоже подарила мама. На тот же юбилей.

Потом мелькание поселков за окнами машины, гул в голове, засранный подъезд чужого дома в чужом далеком городе. И вот я одна. Пустота, тупое равнодушие. Нет даже слез. Полуразвалившаяся мебель. Моя сумка, набитая вещами. И странный, похожий на старинный, эбонитовый телефон, в трубке которого мутно отражалась тусклая лампочка.

Я медленно сняла трубку и покрутила лопнувший диск.

– Ир! Я не хочу с тобой говорить! То, что ты сделала – это подлость! Ты не думала, что так можно убить?

Мамин голос зазвенел и прервался на высокой ноте. Резко долбанули по ушам гудки. Я осторожно положила трубку и легла на проваленный диван, закрыв глаза.

Наверное, я бы не встала с него уже никогда, но, вдруг, с ужасом вспомнила, что забыла сигареты. И кофе. И где эти сраные ключи от этой сраной квартиры?

## Глава 22. Перчики

Я зашла в электричку. В пустом вагоне еле брезжил утренний свет, и в полутьме темные контуры сидений казались нарисованными карандашом. Кое-где сидели люди и их силуэты тоже, почему-то не воспринимались, были неживыми, нереальными. Пробираясь, как слепая, я подползла к самому, на мой взгляд, уютному окошку и подвинув кем-то забытую игральную карту с едко усмехающейся дамой пик, села. Ехать было почти полтора часа, стоять всю дорогу на каблучках в моём прискорбном возрасте, да еще в пять утра трудновато, и я подумала, с трудом слепляя в резиновый ком разбегающиеся сонные мысли: " А чо..., повезло мне. Хорошо, что конечная станция. И надо было, дура с Толей на машине ехать... Но в четыре утра... сдохну точно».

– Куда зад свой распялила? Не видишь, карта лежит тут? Наглые ваще, молодые, карту сбросила. Каракатица, полудурка кусок!

Я открыла глаза. Огромная черная баба, в берете и мохнатым шарфе «назло весне», завязанном толстым узлом, нависла надо мной тяжёлой тучей. От бабы воняло луком, она тыкала в меня сумкой и брызгала слюной. Я ничего не понимала что она орет? Карты какие-то... какие карты?

Окончательно прозрев, я увидела – действительно,

по всем ободранным сиденьям. были разбросаны игральные карты. Они аккуратно белели в полусумраке вагона, силуэты дам-королей были расплывчаты, но всё равно, я заметила, что тот крайний король, вроде бубен, укоризненно покачал головой...

В голове тоненько зазвенело, но было не до обмороков, потому что баба уже спихивала меня с моего места, одновременно пытаясь подсунуть скинутую карту. Я встала, собрала манатки и молча перешла в другой вагон. Там картинка была той же, правда людей набралось побольше, человек десять. И карты были разные, явно из разных колод. И у каждой колоды был свой предводитель, типа туз. Каждый туз сидел гордо и держал руку на груди, вроде Наполеона.

Я прошла в середину вагона и скромно встала в проходе, цепко вцепившись в поручень и, стараясь ни на кого не смотреть. Я уже поняла смысл этого пасьянса, и мне было почему-то стыдно...

Ярко вспыхнул свет, в вагоне стало почти уютно. Народ прибывал, все друг с другом здоровались, что-то говорили, смеялись, постепенно рассаживались, поднимая карты и сдавая их тузам. Кто-то доставал бутерброды, пахло кофе и, почему-то самогонкой. Белые карты постепенно сменялись темными кепками и лохматыми шапками. Мне уже было интересно, этот фарс напоминал какую-то детскую игру, смешную и нелогичную. Но картинка была слажена, подогнана, как единый механизм и только винтик Ирка не поместил-

ся в стройную схему. Дурацкий лишний винтик выпал и переминался с ноги на ногу в модных тесных туфлях, нервно дергал плечом, стараясь уменьшить боль от врезавшегося ремешка тяжелой сумки, и дико, до одурения, хотел спать.

– Девушка, у вас перчатка выпала.

Противный мужской фальцет выдернул меня из сомнамбулического состояния, я дернулась, подломился каблук, но какое-то чудо удержало моё тулово от позорного падения. Реальность вернулась, я осмотрелась. Почти весь вагон был забит, в проходе томила толпа таких же везунчиков, как я, но пара-тройка мест до сих пор белела картами. Один из тузов медленно оглядывал толпу, стоящую в проходе и, вдруг, его томный взгляд остановился на мне.

«Вот ведь, красота, она и в электричке красота», – гордо подумала я. Он поманил меня пальцем, поднял карту и показал на сиденье. «Блиин, так собак подзывают, ещё свистнул бы», – неприятная мысль меня кольнула, но так сжало левую ногу и заломило бедро, что я заискивающе улыбнулась, помахала хвостом и протиснулась к благодетелю. Я бы поклонилась ему поясно, но толпа мешала, и я плюхнулась так, неблагодарно.

Электричка успокаивающе пела своё тутук-тутук, в вагоне было тепло и влажно, запотели окна, пахло едой, перегаром и духами, всё это расслабляло, усыпляло и я снова задремала. Однако совсем провалиться в сон мне не удалось. В вагоне вдруг что-то случилось. Резко меня толкнув, сосед-



ка – блондинка, которая только что мирно красила пухлые губы термоядерной помадой вдруг вскочила и сиганула через меня. Народ массово снялся с насиженных мест и суетливо начал пробираться к выходу. По платформе мимо оставившегося поезда неслась толпа. Причем неслась быстро, стуча каблуками и толкаясь. Я испугалась, вцепилась в сумку и собралась рвануть тоже. Похоже пожар где-то, странно, что не объявляют!

– Не бойсь, девочка. Эт зайцы. Первый раз, что ль едешь? Вон и шляпку потеряла...

Насмешливая бабуська напротив никуда не торопилась. Фыркнула, поправила платочек

– Плащик беленький свой вон напачкала. Ты курточку купи, тут все в курточках. А то не настираешься, ведь, в пылюке то... А то и шляпку сыми. Не любят тута фиф, лыбются, дурни. Беретку возьми в лектричку. Сподручней в беретке то...

Я вдруг будто издалека увидела среди озабоченной и усталой серой смурной толпы белую идиотку на шпильках и в дурацкой шляпе.

Я помню её до сих пор...

\*\*\*

Просто жутко трясло от страха. Я не спала всю ночь, и, в свете мутноватого ночника, разглядывала Толино спящее лицо. Как мы заявимся к родителям? Как будем себя вести?

Ладно бы – молодые, а то... придурки престарелые...

Всё это неприятно елозило в моем мозгу, щекотало шершавыми лапками, беспокоило колюче, почти реально ощущимо. Я гнала его, смахивала, а оно лезло, лезло.

\*\*\*

Мама, конечно, оттаяла. Правда ей понадобился для этого год. Долгое, тяжелое безвременье, когда я совсем не слышала её голоса, узнавая о ней только через Машку и отца тянулось бесконечно. Но, после беспросветного молчания она позвонила сама.

– Ну что? Ты жива ещё, моя красотка?

Она говорила едко, но уже слышались те самые, смешливые нотки мамы – девчонки, которые я обожала.

– Мам... Я приеду. А?

– Так давно б приехала уже. Тут мать-старушка одна, без дочки чахнет. А дочь в самые ...пеня забралась. Не вылезешь, наверное, совсем из своей Нахапетовки?

– Почему Нахапетовки-то? Н-к – большой город! Между прочим, замечательный! Мне очень нравится Н...

Я с гордостью назвала свою новую малую родину, небольшой уютный городочек дальнего Подмосковья, где мы обосновались с мужем и его больной старенькой матерью. Обосновались, сняв квартирку в трёхэтажном, дико воняющем кошками кирпичном доме, окруженным заросшими картошкой огородами, но тем не менее, обалденно мне нравившем-

ся.

Правда на нашей кухне жил монстр, гудевший синеватым пламенем через ободранную дыру в эмалированном пузе. Выглядел монстр жутко, гудел устрашающе, на выходе давал еле теплую водичку, и то, когда никто кроме меня на всех трёх этажах не включал краны. Монстра я боялась, как огня, с дрожью во всём теле, подносила спичку к его брюху и отпрыгивала козой назад, прячась за дверной косяк. Но это было единственным, что не очень меня устраивало в новом жилье. Зато, на балконе цвели крокусы.

– В воскресенье, ага? Мам? В это.

– Давай. Я тебе пальто купила. Белое и кожаное. Длинное, по пят, как ты любишь. Правда, ты теперь, наверное, больше в телогрейке...

Я представила себя в белом кожаном в электричке и мысленно фыркнула:

– Маааам...

Я тянула это «маммм» в нос, как в детстве. Я чувствовала себя четырнадцатилетней шкодливой девчонкой, точно, как та, глупая, толстая, некрасивая, притащившая блохастого несанкционированного котёнка, и спрятавшая его под диван.

– Вот те и маммм. И этого... как его. Приводи, чего уж. Папа там резюме его почитал, ты, небось, подбросила? Подполковник... с Украины... Чего он жрет-то? Сало, небось? Хохол! Здоровенный, гад, Машка говорила... Бабник!

– Ни с какой он не с Украины! Во Владивостоке жил сто лет, да во Вьетнаме! Ты ж читала! Ты и сама хохлушка... бывшая.

– Хохлы и евреи бывшими не бывают! Ладно, приводи, сказала же. Посмотрим.

Я не сразу положила трубку, прижимала её к щеке, тёплую, и слушала резкие, короткие гудки отбоя.

\*\*\*

Палец никак не слушался, но я всё-таки заставила себя нажать на кнопку. Звонок прозвучал стеснительно, но всё равно пробрал по позвоночнику. Я вздрогнула и краем глаза увидела, что Толя усмехается слегка, этак в усы. Я понимала, каково ему, и эта неловкая усмешка не то, что разозлила – взбодрила меня. Я нажала кнопку уже увереннее, и тут дверь открыли.

На пороге стоял папа. Растерянный и смущенный, одетый в парадную рубашку, ненавистные джинсы и новые тапки, он топтался, пытаясь встать боком, потому что размеры мужа явно были для него неожиданными. Я подождала пока они разойдутся, сталкиваясь животами, и тоже проскользнула.

Мама сидела королевой за столом, как всегда шикарная, большая, яркая в своем японском кимоно, расшитом маками. В комнате плыл аромат духов и индийских благовоний, к которым она пристрастилась последние годы, всё это смешивалось с запахом еды от царски накрытого стола и дей-

ствовало одурающе.

Я подошла, мне так хотелось прильнуть и заплакать, но она указала мне рукой на стул, рядом с собой.

– Похудела и пострашнела! На обезьяну стала похожа. Давай, знакомь!

Толя подошел, встал рядом. Она протянула ему руку и медленно сказала, близоруко вглядываясь:

– Нуууу... не могу сказать, что сильно рада тебе, дорогой зятёк... Посмотрим. Руки мойте и за стол!

\*\*\*

Третью бутылку я приносить не хотела насмерть. К ночи рассказы о морях-океанах гудели в моей башке, как корабельные рынды, но у наших моряков, вдруг нашедших друг друга в городской пучине, истории не иссякали и бились в наши с мамой неокрепшие головы штормовыми накатами.

– Ириш, принеси там баночку какую, закусить.

Папа раскраснелся, забыл про свою аритмию и молодецки ляпал рюмку за рюмкой, стараясь не отставать.

– Сейчас я принесу, сиди...

Мама еле встала, но я, с удовольствием заметила, что она оперлась на Толино плечо и тот перехватил её руку, помогая.

– На-ка. Попробуй вот давай. Иркина тетка прислала, из Саратова.

Аккуратненькая баночка, туго набитая маленькими перчиками, источала такой аромат, что даже мне захотелось

один, но мама отодвинула банку локтем.

Толя жажнул рюмку и бросил перчик в рот.

– Вкусно?

Она спросила тем самым «вредным» голосом, который я, как облупленный, знала с детства и всегда ждала следом за ним какого-нибудь подвоха.

– А то! Класс!

– Ещё бери. Давай. Ешь...

Муж браво закинул ещё пару перчинок, чуть побагровел и зажевал хлебушком.

– Как ты это жрёшь-то, господи!

Мама недоверчиво покрутила банку и, зацепив перчик вилкой, сунула в рот.

Картину эту было не описать словами. Чихая, плюясь и матерясь, мама выскочила из-за стола и, как молодая, ринулась в ванную. Папа, выпучив глаза от такой неожиданной прыти рванул следом, захватив полотенце.

Я с ужасом наблюдала за этой сценой. Толя толкнул меня в бок и сочувственно покачал головой.

...Сейчас я думаю – наверное тогда, именно в этот момент, родилась их дружба.

Мамы и моего мужа...

## Глава 23. Переезд

В маленькой квартирке было полутемно. Я топталась в тесной прихожей, пытаюсь внести посильный вклад в этот тарарам, который случился в маминой жизни из-за меня. То, что она для нас сделала, имело огромную цену, я это понимала, и чувство вины и любви сжимало сердце до боли.

Переехав из своего дворца в так, скажем прямо, небольшую по размерам квартирку, мама нас спасла. Вернее, нас спасли обе мамы, только благодаря их помощи у нас теперь было небольшое, недостроенное гнездышко на самой окраине далекого Н... ка. Для нас четверых (а с нами жила ещё дряхлая кошка-Мурка, приехавшая в плацкарте вместе с моей новой свекровью) после съёмной конуры с газовым монстром – это были хоромы!

А вот мама... Королева моя... Здесь...

Но мама совершенно не комплексовала.

– Ирк! Ты аппарат телефонный сняла? Я ж тебя просила, овца ты беспамятная. Давай, беги за ним, пока ему ноги не приделали.

Я вздрогнула и рванула за аппаратом. Как я могла забыть? Это же основной мамин рабочий инструмент, она обожала именно этот, и не желала менять его ни на какой другой.

Майское утро было таким радостным, каким оно, на удивление, нередко бывает в Москве, вечно погрязшей в непогодах. После ночного дождя лужи сияли на солнце, и по ним плыли желтые пятна пылицы. Офигевшие от вдруг грянувшей весны воробьи, размохнатившиеся, как клубки мохера, ныряли в воду, очертя голову. Это утро превратило и меня в радостного, беззаботного воробья, и я, перескакивая через лужи, запрыгала по асфальту, как будто мне не стукнуло... ужас сколько. Столько не живут!

– Мам! Я отвоевала твой телефон! Тетка та противная, скупщица квартир сраная, его отдавать не хотела. Если б не Толя!

– Да и хрен бы с ним. Новый уж давно пора купить.

– Давай купим. Я куплю!

Мне так хотелось сделать, хоть что-нибудь, этакое, красивое, благодарное-благодарное. Но мама останавливающие подняла руку, и я снова почувствовала себя первоклашкой.

– Кастрюль себе купи, купилка. А то вон, мою выпросила. Ладно уж, возьми и вон ту, с блестящей ручкой. И сковородку возьми, что ли. Ты ж кухарка у меня. Сельская. Совсем село стала.

Я и не скрывала, что мне небольшой, тихий, спокойный городок нравился намного больше судорожной, безумной Москвы, но, почему-то обиделась.

– Ты, мам, не понимаешь чего-то... Знаешь какой у нас лес вокруг. И розы! У меня розы у дома будут цвести. Пред-



ставляешь?

– Представляю!

Мама уже рассеянно смотрела на меня, потому что настал час икс. В дверь звонили, пришли дети. Они нашли нас и здесь. А сеанс, предназначенный для меня закончился.

– И Ирк! Там коробочка здоровенная такая, со слоном, на балконе она стоит. Так вы её не трогайте. Это для Галины саратовской подарочки, да для внука её вещей набрала. Пусть так и стоит, не распакованная. И гречку отдельно сложи, все десять пакетов, отец вчера по дешёвке достал. Галька ест, она любит.

– Мам! Опять! Папа тащить будет, тяжесть такая! Они что, на рынок не могут сходить?

– Ты что, не помнишь, какой мужик у неё, а? Она сама с рынка всё прёт, надрывается. Да и денег нет не хрена. А ей микроэлементы надо, с её – то сердцем! Там ещё и сестре лекарства купила, не забыть бы только, блин. У той тоже, с глазами чёрте чего. Так она лекарства не берёт, натурой лечится, дурында. Но, ничего, я ей всё равно их всучу. Выпьет, как прижмёт!

Я смотрела, как мама, с трудом, цепляясь за нерасставленную пока, слишком массивную для этой квартиры мебель, шла в спальню, и думала: «Откуда у неё столько душевных сил? Как она умудряется не забывать ни о ком? Почему эта толпа народа, постоянно вертящаяся вокруг, вся, целиком и полностью, помещается в её сердце?»

Она обернулась на пороге спальни и посмотрела на меня этак – «внутри», как называла такой её взгляд баба Аня, цепко и жёстко:

– Вот что! Ты дочкиного Ваню прими, не выпендривайся. Я понимаю, он ведет себя, как придурок. Фигляр. Но она— твоя дочь. Она мечется, и хочет вас познакомиться и стесняется его, дурочка. А он, знаешь, не идиот. Просто такой... Недолюбленный...

Меня тошнило от вида этого Вани, но Машка-то, действительно дочь. Хоть и дурная!

– Я приму, мам, не волнуйся, куда деваться. Они ведь заявление подали, знаешь?

– Вот-вот. И свадьбу им сделаем. Платье помоги ей подобрать, она вон – толстуха какая.

Машка не была особо и толстой, так, полненькая... Но маме нравилось, что внучка поправилась вдруг и стала так похожа на неё. Она улыбалась при этих словах той самой своей, так и не разгаданной мною, улыбкой... И я не стала спорить.

\*\*\*

Абсолютно не майская жарница зажала в огненных тисках мой крошечный провинциальный городок. Пыльная листва мертво торчала на деревьях, и не было хотя бы намёка на ветерок или хоть какой-то сквознячок. Даже от реки, в которой маслянисто замер, кажущийся неподвижным фонтан, пахло не свежестью, а баней, в которой только что парились. Это

если у нас здесь, в дальнем загороде, где сосны забредают прямо на площадь – такое, то что творится в Москве! Хорошо, мама с отцом уже уехали в свой Саратов, к прохладной воде и нежным тёплым волжским вечерам. А вот нам предстояла встреча! С будущим зятем...

Пузатенький автобус, пыхтя, подкатил к остановке и выплюнул распаренную толпу, взлохмаченную и утирающуюся. Оттуда тоже пахло жаром, но уже не банным, а печным. Мы с Толей стояли, крепко взявшись за руки, как два старых дурака, всматривались в людей напряженно, где-то даже испуганно. У нас ведь тоже, получалось что-то вроде смотрин...

Дочь не заметить было трудно. Ярче и красивее брюнетки, не было, наверное, во всем городке и окрестностях. Пышная, не полная, а именно пышная, с длинными, распущенными волосами, которые она красила не просто в черный цвет, а в цвет воронова крыла, с огромными глазищами, подведенными точно и умело, она привлекала все взгляды, и явно гордилась этим. Посадкой головы она была потрясающе похожа на бабуку, держала её высоко и надменно и только слегка сутулые плечи напоминали отца.

Но вот за руку она держала ...некое образование... Странное создание, худое, но довольно плечистое, имело маленькую сухонькую головенку с длинным плешивым хвостом и резкие черты истощенного личика. Казалось, красивая молодая мама тащит уродца – сына – ну вот так ей не повезло. Я

страхнула наваждение и подалась навстречу. Будущий дочкин муж, на глазах изумленной Н... кой публики, преклонил колено и поцеловал мне руку. Толя стоял и смотрел на это молча. Но глаза выпучил сильно...

...Обед подошёл к концу, Ваня спокойно мыл посуду на кухне, дочка вытирала её своим любимым полотенцем с цыплёнком. Я уже примирилась с новым членом нашей семьи, смотрела, как он ловко шурует в раковине красными, распаренными от кипятка руками, быстро по-птичьи встряхивая головой, и думала: «Наверное, это рок... такая судьба у нас... что ли...».

Кого-то он напоминал мне гортанным коротким смешком и взглядом этим, странным, серым, быстрым. Этим острым чувством – резкой сумасшедшинки, пряной и пьяной. И я знала, кого...

\*\*\*

Новость о смерти Галины, оглушила нас по-настоящему. Даже не столько новость сколько мамин голос, которым она говорила со мной вчера. Мы мчались по осеннему шоссе так, будто за нами гналась стая волков. Уже темнело, черные деревья мелькали, сливаясь в одну сплошную линию. Толя гнал, но я не вякала, как обычно, я тоже чувствовала это желание – гнать! Лететь! Быстрее! Не опоздать! Наверное, потому что в мамином голосе опять был слышен страх. Тот самый, почти животный, совершенно не свойственный её бой-

цовскому характеру и живой, искрящейся натуре.

Ровный гул шин не успокаивал, как обычно, а раздражал. Мы молчали, говорить не хотелось, но я понимала, что нас гнетет одна и та же мысль. Но она была такой бо́льной, что мы оба запикивали её в самый дальний угол сознания, запикивали трусливо и понимали это.

Саратов снова ворвался в мою душу огнями огромного моста, отблесками бесконечной воды и запахами степного воздуха, напитанного чем-то таким, от которого сладко сжимало под ложечкой. Точно, как в детстве. Я обожала эту землю, но сейчас она мне показалась серой и тоскливой. Наконец мы, муторно петляя по узким дачным проулочкам, подползли к воротам. Папа стоял у калитки, он был похож на маленького сгорбленного старичка, ищущего что-то в сумерках на пыльной дороге. Таким растерянным, потерянным даже, я его увидела впервые.

– Плохо, Голяп. Мама что-то прям...

Я влетела в зал. Посредине почти пустой комнаты, среди коробок и сумок, собираемых явно наспех, сидела мама. Под длинными, свисающими полами белого халата, наброшенного кое-как на такую же длинную рубаху, почти не видно было ножек стула и мне показалось, что она парит, как привидение. Всколоченные волосы, бледные, мягкие какие-то щеки, дрожащие синеватые губы. Без украшений, не грамма косметики – она не позволяла себе такого никогда. Захолонуло сердце, я подскочила, сжала ледяную руку.

– Мам! Ты чего?

– Ирк! Она так же, как Ритка. Галька умерла так же. Точно так же. Я следующая.

– Мам, не дури, а! Она больная была, давление до небес. Ты-то! Что уж, совсем? Всё под контролем, давление приличное, такие врачи у тебя. Я не находила нужных слов, выражалась междометиями, но она меня и не слушала.

– Я уезжаю отсюда, Ира. Я не могу здесь. Тут мёртвые они, все... Все мертвые... Борька, брат помер, Ритка. Теперь Га-лина... Смерть здесь.

Закрыв глаза, мама продолжала сидеть, покачиваясь. Подошёл муж, положил руку её на плечо.

– И правильно, Ангелина Ивановна. Что вам теперь делать тут! Мы там, у нас дачу купим. Дом построим. Хоть какой! И будем жить все вместе. И детям вашим туда ездить будет легче и друзьям. Ирка розы разведет. Хризантемы. А?

Мама посмотрела на Толю, как маленький ребёнок, которого погладили по голове и прошептала тихо, тоненьким, чужим голоском: – Сделаем веранду с камином. Туда моя художница приедет, я ей заплачу. Ей всё равно, деньги нужны. А так просто, не берет ведь.

Там, где то, в глубине маминых, вдруг потухших зеленых глаз, появился огонёк. Тот самый...

## Глава 24. Лестница

Пожилая аптекарша смотрела на меня сквозь очки, этак в прищур, раздраженно. Её можно было понять, выносить из подсобки уже пятую трость и смотреть как это взлохмаченная, похожая на ворону, дура выставляет их в ряд и сравнивает оттенки – тут терпение надо адово.

– Женщина! А женщина! Вы скоро? Мне смену считать!

Я не обращала внимания на всяко-разные посторонние звуки. Ну, во-первых, потому, что «женщина», это не ко мне. Я к «девушке» привыкла, причём столько лет тому назад, что уж и не сосчитать. А во-вторых, мне было плевать на поздний вечер и даже на ночь, так меня поглотило это сложнейшее дело. Я ведь выбирала трость королеве!

– Женщина! Я к вам обращаюсь. Это палка! Для инвалидов! Это не аксессуар! Вам, может еще инкрустацию подавай? Брильянтами? Так сделайте заказ! С предоплатой!

Тётка резко стукнула чем-то в своей будке, как будто стеклом об стекло, аж тренькнуло, и выскочила в зал. Я мельком глянула на ее покрасневшее лицо, поймав злобное выражение маленьких, черненьких глазок – пуговок. Так, наверное, в психушках смотрят на безнадёжных психов, ищущих в своей палате что-то, видимое им одним. Но долго думать о ней я не могла и отвернулась, тем более что одна из палок

ну очень привлекла моё внимание. Такая красивая...

– У мамы пальто серо-голубое, шуба золотисто-коричневая. Значит эта, светлого дерева, точно подойдёт. И нахлобучка отличная, позолоченная. Как раз мама такие ботинки купила, на заднике золотые полосы.

Я разговаривала сама с собой, совершенно не замечая, что тетка медленно звереет. И только загоревшийся от её взгляда затылок, наконец отвлек меня от увлекательного занятия. Я потянула выбранную трость к кассе, уворачиваясь от пуль, которые летели из аптекаршиных глаз в мою бедную голову.

– И без сдачи! Я уже деньги собрала!

Тётка смотрела мимо, непримиримость её позиции была очевидна и несгибаема. Я с ужасом рылась в кошельке. Мысль, что мне не хватает именно на эту трость с золотым набалдашничком, не хватает совсем чуть-чуть, каких-то рублей, вдруг лишила меня гордой независимости и всяческой уверенности. Я по-собачьи смотрела на размытое лицо, отражающееся в стёклах уже погасившей свой свет витрины, и, наверное, тихонько поскуливала, потому что аптекарша вдруг сжалилась.

– Ладно! Давай сколько есть. Я на той неделе в смене, занесёшь. Бродят здесь... Вороны... Палки им подавай... По ночам...

\*\*\*



– Всё таки ты деревня, Ирк. Ну куда ты красоту-то такую припёрла, я тебе что, цыганка? И так стыдобина с палкой ходить, а тут ты ещё. Ты мне костыль бы расписной под хохлому приволокла. Поспокойней-то не было чего?

Мама, согнувшись в три погибели, опираясь большим животом об край раковины, мыла посуду. Она уже не могла распрямиться, так болела у неё спина, и всё делала или сидя, или наклонившись, в упор. На даче теперь везде были мощные деревянные ручки, и я сама, с удивлением замечала, что с удовольствием цепляюсь за них, даже не думая, просто так, для подстраховки.

– Мам, я старалась. Ну честно, под ботинки твои.

– Да не лезут мне на ноги уже ботинки эти. Хочешь, за-  
бери. Тебе подойдут... Ты мне грибы в беседку поставила? Иди, ставь. И нож положи, тот, мой любимый. И цветы. Ты мне цветов нарезала? Я менять в вазах буду. Побольше нарежь!

Я с трудом взгромоздила здоровенный тазике с грибами на стол, поставила кастрюлю. Чистить грибы, упругие, пахучие, только что принесённые нами из леса было любимым маминым занятием. А я обожала сидеть рядом. Мама почти не видела, один глаз, тот самый, в котором лопнул сосудик, ослеп, второй, относительно здоровый был близоруким, но она не падала духом. Я, втихаря дочищала прилипшие листики и иголки, так чтобы она не заметила и не обиделась. Но она замечала:

– Ирка, зараза, отвали от грибов, ... твою мать!

Тут она смущалась, прикрывала рот ладошкой

– Ой. Прости уж ... Что ты там порхаешься, как курица?

Подумаешь, пару иголок не заметила. Всё равно промывать будешь. Не лезь, прогоню.

Это меня пугало, потому что не было большего удовольствия, чем сидеть рядом с ней в беседке, смотреть, как полными нежными пальцами в кольцах, она медленно и плавно перебирает грибы, глядя мимо. Но главное – слушать. Меня завораживали её рассказы. Мне всегда казалось, что она прожила не одну – сотни жизней. Теперь я понимаю, так оно и было...

– Ты, когда от мужа ушла, да ещё в этот свой Мухосранск уехала, я долго прийти в себя не могла. Просто сидела оглоушенная и в стенку смотрела.

– Маааам. Ты опять. Это Москва твоя Мухосранск засранный. А у нас в городе фонтаны, чистота... тротуары моют каждое утро, как в детстве. Розы везде, воздух...

– Коровы гуляют, куры... Овцы...

Мама продолжала точно в моем тоне, она умела поймать интонацию, делала это мастерски. Улыбнулась:

– Ты мне в детстве как говорила: «Я утром дояркой буду, а вечером -актеркой». Теперь, вишь, немного до твоей цели....

Она меня всегда поддразнивала, правда теперь мне уже хватало ума не обижаться.

– Так вот, я тогда Галине позвонила. Теть Гале, в смысле, тетке твоей. Рассказываю, она молчит. Как язык проглотила. А потом, громко так, басом: «Вот бл-ди!». И трубку бросила!

Мне было смешно до слёз, тётя Галя матом не ругалась, и если это было правдой, то, значит, возмущению тётки не было предела.

– Потом звонит сама, плачет. Я ей говорю: «Галь! А что ты во множественном числе-то? Ленка твоя приличная, мужей не бросает.» А она мне – " Все равно бл-ди!». И опять трубку бросила. О! Как ты её потрясла!

Толя стоял сзади и хохотал. Мама погрозила ему пальцем и поднялась, цепляясь за деревянную ручку.

– Помогите дойти, Толь. И краски мне купите в городе, деньги на телевизоре.

Мы ехали в машине и всё хихикали. Представить нежную, очень образованную мамину сестру, ругающуюся матом, это всё равно, что представить Ленку, её дочку, не ругающуюся.

– Слушай, а краски ей зачем, не понял.

– Так она художницу свою уговорила с детьми заниматься. Они теперь керамику лепят, та обжигает, потом все вместе раскрашивают. Всю квартиру уже залепили, наверное, сюда нагрянут. Надо ведрами краску покупать, чтоб на всех!

\*\*\*

Было уже довольно поздно, когда мы приехали из города. Летом темнеет только к десяти – пол-одиннадцатого, по-

этому еще только смеркалось, и двор был укутан тем особенным золотисто-розовым светом, который бывает в теплые вечера на севере. Всё было погружено в благостную тишину и только из сарая, где папа устроил мастерскую доносились «шварк-шварк». Я знала, что оттуда его не дозваться, поэтому мы купили маме автомобильный клаксон, и она трубила им в форточку, когда папа уж совсем «терял совесть» и не подходил к ней «целый час». Но сейчас клаксон молчал, папа, судя по его замусоленному виду и уставшему лицу шваркал в сарае далеко не один час, и что-то здесь было не так.

– Пап! Мама где? В абаме?

Абамой нашу летнюю, длинную как сосиска, украшенную множеством мелких окошек кухню, прозвала мама. Увидев великолепное строение, она хмыкнула и бросила; «Ну, барак! Прямо барак абамы!» Так и пошло...

Папа выскочил, как чёртик из табакерки и вприпрыжку бросился к кухне, я за ним. Но, судя по выключенному свету, мамы там не было, можно было и не бежать. В доме её тоже не было, и, рванув на поиски в разные углы сада, мы обшарили все закоулки. Вроде мама была бабочкой и могла спрятаться под листик. Но её не было нигде! Обалдевшие, присели на лавку.

– Пап, она может на улицу вышла?

У меня колотилось сердце, я вообще не понимала, что происходит, куда могла испариться женщина, которая даже

по двору ходит не очень. С палкой! С золотым набалдашником!

– Да ты что! Она без меня даже до абамы идти не хочет, какая улица!

– Я сейчас кроссовки надену и по улице пробегу. К соседям! Мало ли что, может за ней зашли и в гости утащили...

Одним махом, вроде мне только – только стукнуло пятнадцать, я влетела на второй этаж. Надо сказать, лестница у нас довольно крутая, но тут, я её даже не заметила.

Там, у входа в комнату, на полу сидела мама. Она упала, видимо уже преодолевая последнюю, самую высокую ступеньку, и сейчас, с трудом переваливаясь на бок, пыталась подтянуть отлетевшую палку.

Я, наверное, сказала вслух именно те слова, которым безуспешно всю жизнь она меня пыталась научить. В этот момент мама, наконец, дотянулась до палки, села и погрозила ею мне.

– Я и сама бы встала! Только палка отлетела... А у тебя пыль на полу!

## Глава 25. Прощание

– Знаешь, я потерял Нить... А ведь держал её, крепко, аж пальцы резала. Скользящая она, все выскочить норовила, но я держал. А потом – раз! ...Мне кажется я нарочно её отпустил.

– Нароооочно? И как ты без Нити? Без неё же ничего разглядишь, все ведь мутное. Да и идти по Нити надо. Тебе зачем её дали? Ты помнишь КТО тебе её дал? Как дорогу к Истине без неё найти-то?

Двое, один высокий, почти прозрачный, с тонким грустным носом, в белесом балдахине с непомерно длинными рукавами и торчащими из широкого ворота угловатыми крыльями и второй – маленький, крепкий, похожий на воробья, с залихватски выглядывающими из прорех грязноватой рубахи белыми перьями, сидели на краю. Они болтали ногами, хотя Мастер сто тысяч раз им говорил, что так не делают. Не по чину!

– Так я вот думаю, а зачем к ней идти-то к Истине? Кто решил, что она истина и есть?

Тот, что похож на воробья, вдруг вскочил, дернул косматыми крыльями и взлетел, очертив круг над Бездной, потом приземлился на самом тонком, совсем хрустальном участочке Края, подняв вихрь серебристых искр. Из дырки в боль-

шом кармане, прошитом крупными неровными стежками, высыпалась парочка разноцветных шаров. Они подпрыгнули, скользнули вниз и растаяли в прозрачном воздухе

– Повезло кому-то, так, даром шары привалили. Что ж – курочка по зёрнышку, яичко к обеду, – воробей хихикнул, даже чирикнул слегка.

Грустный посмотрел вслед растаявшим шарам и вздохнул:

– Тебе вот сюда (он похлопал воробья по лбу, потом пригладил ему лохматый вихор) – Не доложили! А сюда... (он ткнул друга в грудь тонким, ломким, как ветка, пальцем) – Переложили. Тебя плохо сделали, ты слишком много думаешь. То, что ты вообще можешь думать уже брак. А тебе просто считать надо. И цвета различать. А ты ещё чууууувствуешь. Сочууууувствуешь... Предчууууувствуешь... Хоть скрывай, что ли. А то век будешь розы поливать у Мастера и мух гонять. Воробей!

Маленький отпрыгнул, вихор дернулся и снова встал торчком:

– Просто считать – люди в баранов превратятся. А они ЛЮДИ! У них тут (он ткнул Белёсого тоже, только палец у него был крепкий, твердый, такой, что тот отшатнулся, охнув), знаешь, как горит! Прикоснешься, обожжёт!

– Так ты, что? (Белесый побледнел и стал сероватым, почти слился с небом) – Ты, что ТУДА ходил? Трогал их? Ты что?

Воробей медленно поднялся, покряхтел, как старичок и бросился вниз. Он летел камнем и только, почти у самой Тверди, нехотя расправил крылья. Подлетел к окну и завис огромным мотыльком, трепыхаясь в смутном свете приглушенных ламп, пробивавшемся из комнаты,

Там, на больничной койке лежала Алька. Худенькое лицо, усыпанное конопушками, выделялось на белоснежной подушке болезненно и странно, мелкие капельки пота блестели росинками, рыжие волосы разметались, сделав ее похожей на солнышко. Худощавый темноволосый парень в свитере с оленями, промокал ей лоб и поминутно поправлял сползающее одеяло. Воробей прижался носом-клювом к стеклу, нос расплющился, как у двоечника, подсматривающего за девчонками. То, что у него клюв только казалось, у него был настоящий, мягкий, детский носишко.

– Ну да... ну да... Истина ему. Какая Истина! Кто её мерил, Истину эту. Как её мерять? Чем? А у неё – вон как горит!

И вправду, под тоненькой тканью Алькиной рубашки, прямо на груди, что-то светилось, вроде огонечек свечи. Тихонько сияло.

Он оторвался от окна и взмыл к небу, прочертив прямую линию в ночном тумане.

\*\*\*



– Мам, давай, постарайся. Надо пересесть на коляску.

Мама не справлялась. Её большое, тучное тело совсем не подчинялось ослабевшим рукам. Да ещё одышка... она хватала воздух ртом, пот градом тек по лбу, стекал по груди. Отец поминутно вытирал её полотенцем, но этого хватало ненадолго. Наконец, втроём, мы пересадили её на каталку и повезли в рентген-кабинет.

– Ну, держите крепче. Надо хотя бы несколько минут ей постоять прямо.

Я подставила маме спину, чтобы она смогла опереться. Но она оттолкнула меня сильно и раздраженно, собралась в кучку и, уцепившись за поручень, врезанный в стену, выпрямилась.

– Куда ты лезешь! Я ж тебе так позвоночник сломаю. Отстань, я сама!

Врач быстро защелкал кнопками и заорал:

– Что стала! Быстро! Давай в подсобку!

Когда я подскочила к маме, было ощущение, что она, прямо стоя, потеряла сознание. Но держалась, вцепившись побелевшими пальцами в вытертую до сияния железяку. Потом, посмотрев на меня невидящими глазами, рухнула в подставленное кресло...

– Ну, не знаю, тут воспаление, конечно есть, но больше

хронь. Что там могло такую остроту дать? Ну, нечему просто. Не знаю...

Доктор водил мышью по экрану, приближал, удалял снимок, похожий на карту какой-то неизвестной местности. Чмокал по щенячьим губам, снова что-то ворчал.

– Короче – воспаление напишу, антибиотики проколят. Должно помочь, но ничего не обещаю...

Я вошла в палату тихонько, думая, что мама спит. Но она не спала... Полусидя, опираясь на высоко поднятые подушки, она читала какую-то тетрадку, исписанную детскими каракулями. Она тяжело дышала, периодически закашливаясь, но читала внимательно, слегка прищурившись, близко-близко поднеся страницы к глазам. Отец массировал её вздувшиеся, как шары ступни, в палате было по-домашнему спокойно и мирно. Я залезла на кровать с ногами, она потрепала меня по спине.

– А, Ирк. Выкарабкаюсь, не бойся. Сейчас такой уколище влупили, с поллитра. Скоро капельницу принесут. Мне уже лучше. Иди.

\*\*\*

Перевозку больных всё же вызвали, хотя мама держалась уже совсем молодцом. Всю дорогу она заглядывала в окно и рассказывала нам, как она обожала раньше бродить по Москве и с каким удовольствием собирается на дачу. Но только надо для детей заключительный праздник органи-

зовать, без этого ну никак никуда не поедет. У меня, наконец разжалась внутри до боли сжатая пружина и стало рядом с мамой так же спокойно и хорошо, как раньше. Мигом забылись её нападки, раздражённые и часто несправедливые слова, которыми она вдруг, не с того хлестала меня пару последних лет. Я понимала – это болезнь, страх и отчаянье, но всё равно – обижалась. И тут вдруг, всё это, наносное, схлынуло, стало светлее и легче. И главное, появилась надежда.

\*\*\*

В березе, что росла конце соседнего участка, точно образовалась дырка от моего взгляда, так часто я бросала его на дорогу, нетерпеливо и нервно, встав на цыпочки, пытаюсь разглядеть хоть что-то, сквозь запыленные кусты. Вот-вот должна была подъехать наша машина, Толя вёз моих родителей на дачу. Они перебирались на всё лето, а я должна была отработать еще немного и тоже побыть с ними. «Наконец, я ей диету нормальную организую, готовить сама буду, может хоть немного похудеет, всё дышать легче. А там, только начни... В институт питания её запихнем, ничего, заставим. Справимся! Ей с нами еще лет пятнадцать жить, это минимум! Она ещё у меня гулять начнет. С нами, на лугу» – радостные мысли теснились, толпились, как овцы, толкая друг друга.

Совершенно потеряв терпение, я судорожно натянула парадные шорты, выскочила на улицу, и, надрыв ворох

маминых любимых желтых сурепок, долго подпрыгивала от нетерпения на обочине. Совсем как в детстве... Когда ждала поезд...

Аромат маминых духов хлынул из машины волной. Тяжело опираясь на палку и папину руку, она постояла перед крыльцом и мне, вдруг, показалось, что она просто не сможет подняться по ступенькам. Но она поднялась, отдуваясь присела к своему любимому столу на веранде, потрогала пальцем керамическую лошадку, которую раскрашивала в прошлом году. Поправила вазу с розами. Улыбнулась.

«Ничего», – подумала я, – «Ничего...»

\*\*\*

– Что ты сверху вопишь, спускайся. Взяла привычку от-туда кричать. Хочешь сказать чего, иди сюда.

Я стояла рядом с мамой, и ранний утренний свет чуть брезжил через тонкие занавески. Отец, совершенно ошалевший, бегал по комнате, перекладывая какие-то вещи, лекарства, что-то роняя. А мама смотрела мимо меня, куда-то на лестницу и подзывала меня рукой, тем, самым ласковым жестом, который я помнила с детства. И чуть заваливалась набок, пыталась удержаться, но всё заваливалась, заваливалась...

\*\*\*

Синие до черноты тучи прижались к земле так плотно, что придавили дома. Дома по-жабы пластались по земле и ис-

пускали жар. Этот жар плыл вдоль размокшей дороги, трава парила. Я бежала по пустой улице куда-то, у меня разъезжались ноги, но я должна была успеть. Я бежала и бежала, падала и снова поднималась, пар врывался мне в лёгкие и обжигал, я задыхалась, сердце колотилось в горле, и я почти не помнила, почему и как я оказалась в Толиной машине. Мы гнали по шоссе, мне казалось ещё немного и скорая, увозившая маму, появится впереди, мы её догоним, и я всё поправлю, ужас закончится и все вернутся домой. И за ужином мы хрястнем бутылочку дорогущего шампанского, (золотистую башенку, торчащую из сумки, отец показал мне втихаря, хитро улыбаясь). А потом, может, сыграем в лото...

Телефон зазвонил, затрепетал в кармане. Я выхватила его, папин номер высветился ярко в предгрозовом мареве. Он что-то сказал, но я не осознала слов, вернее я не смогла сложить слоги в слова. Резкая боль ударила мне под ложечку, я, наверное, сложилась пополам, потому что Толя резко свернул на обочину, остановив машину.

...Дальше я помню только папину руку, ладонь, на которой лежали два кольца и серьги. И мысль, назойливо сверлящую мне мозги:

«...Как они сняли кольца...»

\*\*\*

Полная старушка в мамином платье и шикарном мамином платке, лежавшая в гробу, мамой совсем не была. У неё были

твердые холодные руки, мраморно-серые, неровные щёки, провалившийся узкий твердый рот. Только рыженькие бровки домиком напоминали маму, но я не могла на них смотреть, потому что сразу возникал спазм в горле и начинался кашель.

В бликах огромного количества свечек, толпы проходящих людей были похожи на накатывающие валы темной воды. Одинаковые лица мелькали, одинаковые голоса гудели.

«Как много людей», – тупо думала я, – «Они все не поместятся в зале. И сколько мест я заказала – восемьдесят или девяносто... Или сколько...». Только какой-то визг, детский надрывный, не давал моему сознанию провалиться. Я трянула головой и всмотрелась. Девочка, маленькая совсем, стояла с другой стороны гроба, хватала эту старушку за руку, и тоненько, как зайчик, повизгивала.

# ЭПИЛОГ

Тихий ветерок, скорее, не ветерок, а так, нежное дыхание шевелило тончайшие занавески. Розовый аромат сегодня был таким насыщенным, что даже заглушал запах чая, что Мастеру не нравилось. Он любил, как пахнет чай по утрам, когда лучики солнца попадают в чашку и дробятся золотом на границе темной прозрачной жидкости и белого фарфора. А тут... розовое варенье какое-то.

Он хлопнул створкой, опустил щеколду. Утро было такое росистое, что алмазики воды унизали раму окна и даже чуть брызнули на руки. Мастер еще раз поморщился, поёжился, сел в кресло, удобно расположив чашку на широком деревянном подлокотнике. Раскрыл альбом, полистал... красивые фото Его. Он, вообще, очень хорош. Не зря люди...

В этот момент распахнулась дверь, и на пороге возник тот, кто похож на воробья. Он был встрепан и очень взволнован, перья на крыльях топорщились ежиными иголками. Одной рукой он безуспешно пытался втянуть за собой мешок, набитый чем-то разноцветным, а другой стискивал тоненькую, белую ручку женщины.

Женщина смущенно потупилась, белое платье развева-лось, обтягивая нежное тело. Медные волны густых волос падали почти до пят стройных ног. Потом она, вдруг, подняла глаза и улыбнулась. Глаза были большие, ярко-зеленые.

Смеющиеся светлые бровки домиком. А в рыжих, длинных ресницах запутались солнечные лучики...